



ВОКРУГ ОРДЫНКИ

МІНІСТЕРСТВА
ІНФОРМАЦІЇ

Михаил Ардов

Триптих

Памяти незабвенного земляка моего, замоскворецкого уроженца, Ивана Сергеевича, господина Шмелёва

БАБА-СОЛОМА

Родилась я в девятьсот втором году, в первый день Пасхи, а на второй меня крестили. И была я третья у Тяти — Мария, Анна, потом я. А всего нас было не сосчитать.

Галина, Андрей, Прасковья, Лидия... это все живые. И померло — Вася, Алеша, Иван, Христофор, Дуня, Евгения... Тятя у нас рос сиротой, но земли было много — двадцать пять десятин дарственной да шесть купленной. Работы было много. Всем хватало. Я девяти годов поехала уже боронить на молодой лошади и десяти годов пошла пасти. Некогда было прохладиться. От Тяти нашего ни разу матерного слова не слыживала, все у нас было с молитвой — и косить, и молотить, хоть чего угодно — все с молитвой. Спать не ляжет без молитвы и нам не даст. На Крестопоклонной в среду пекут у нас кресты, крест один поставят на божницу, к иконам, и он уж первым стоит до Благовещения. А в Благовещение в каждый дом из церкви приносят благословенный хлеб, и хлебец этот тоже на божнице лежит. Придет время сеять, Тятя от креста отломит и от хлебца — растолчет да к семенам прибавит. Все с молитвой. Оттого и хлеб такой вкусный был... А теперь все с матюгами. И сеют, и жнут, и мелют, и пекут — все с матом. Уж какой он тут будет... Тут и без болезни будет болезнь. Деревня наша Кожино, а приход — село Янгосарь, всего верста одна.

Там и школа была при церкви, раньше все они у церковей были. Церковь у нас была — Никола, два священника да диакон. У нас без диакона службы не было, потому что приход очень большой. Настоятель нам родня был — я его только и помню митрофорного, не митрофорного не помню... Сто три года он прожил, а служил до ста годов. Шестьдесят с лишним лет прослужил на одном приходе. Бывало, старика хоронит и говорит над гробом: «Я тебя крестил, я тебя и погребаю...» А в церковь я стала ходить с семи лет. Как в школу пошла, так и в церковь пошла.

А петь стала с десяти годов, учил нас диакон, отец Николай. Я ходила во втором классе, а уже часы читала, шестопсалмие читала. А псаломщик, пономарь у нас был старик Димитрий Васильевич... Совсем уж старый был. Бывало, читает «Господи помилуй», а у него все выходит — «помело стоит» да «помело стоит». А потом уж пономарь стал его внук. Мне почему-то ученье давалось, и Закон Божий мне давался... Первый раз я ходила в монастырь так, без обещания. Двенадцати годов. У нас многие ходили — пятьдесят верст. Монастырь Севастианов, преподобного Севастиана Пошехонского. Он еще Сохоть назывался, река там Сохоть.

А мощи были под собором, под спудом. Собор большой был, каменный, как в Петербурге, с петербургского собора план был снят. Всего только двадцать годов в нем прослужили, в

тридцатом году его ломали трактором. Думали, что кирпича в нем будет много, а ни один кирпичикто в дело у них не сгодился... Пошли мы в первый раз, человек десять нас было. А дорогой шла с нами одна эстонка и все меня ругала: «Пошто ты, девчонка, идешь?» А туда пришли, так она говорит: «Мы тебя к Мане не возьмем». А была у нас блаженная Манечка, юродивая. Ну, конечно, меня к ней взяли. Приходим к Манечке. Полная комната народу. Маня впереди стоит. Лет ей сорок, косая, всю трясет ее. Она поглядела на нас, а я боюсь да и за народ прячусь. А она всех растолкала и прямо идет ко мне. И берет меня за руку и ведет вперед. «Ой какая хорошая девочка, — сажает меня да гладит. — Это наша монашенка. И даже наша регентша. Хорошо поет...» (А меня-то всю бьет со страху.) И подает она мне два такие пряничка — белые, а на них полоска красная. «На, ешь, ой они сладкие. А тебе они будут горькие. И никому их не кажи...» Она у нас вообще прозорливая была. Как кому уходить из монастыря... За неделю, за две начинает для своей куклы узелок собирать, котомку. Играет эдак. Это значит — кто-нибудь да уйдет из монастыря. А как кому умереть... Она тоже за неделю начинает куклу свою хоронить. Хоронит да и плачет, плачет... А мошкара у них там, как дождик мелкая, все в рот лезет. Говорить невозможно. Потом пошли мы в собор. Мне очень понравилось за службой, а на улицу выйду — опять не нравится, опять мошки в рот лезут, говорить нельзя... А я и не знала тогда, что у них за одежда. Мантии да рясофорные, а послушниц — камилавка да апостольник... Ладно-хорошо... Домой приходим.

Тятя спрашивает меня: «Ну, как, Санюшка, там в монастыре?» (Это он ласкательно, а то назовет — «голован толстоголовый». Он меня любил.) Я говорю: «Ой, которые богатые — хвосты-то длинные, победней которые — покороче, а уж совсем бедные, только вот тут у них...» А он и говорит: «Если ты пойдешь в монастырь, я тебе долгий хвост куплю». А я: «Пойдика сам, там и говорить-то нельзя, все мошкара, как дождик». Ладно-хорошо. Год прошел и второй — не ходила я. А на третьем году заболела у нас Мама, болела долго — восемнадцать недель в больнице лежала, потом дома. И обещанье дала. У нас обещанье дают, кто болеет, как выздоровеет — в монастырь идти. Ну, не вышло у нее обещанье, пришлось меня послать вместо себя. И пошла я молиться опять в монастырь, во второй раз. Во второй-то раз мне тут очень понравилось. Стала я говорить монашинам: «Я к вам хочу». Они меня отговаривают: «Очень трудно у нас». Мне уж четырнадцать лет было в то время. Я думаю: сами живут, а меня отговаривают, места им жалко. Пришла домой и стала потихоньку собираться.

Лоскутное одеяло себе шила, да и проговорила по секрету сестре Аннушке. А она-то и родителям сказала. А Тятя с Мамой не хотели. А потом Тятя наш заболел, вот тоже обещание дал в монастырь сходить, в Сохоть. Ладно-хорошо. Дожили до весны, а тут самые работы. А у нас все больше на Троицу ходят. И опять меня отправили. Пошли мы в пятницу. Думаю, надо корзину взять, платье положила, платок положила, надеваю жакет ватную, Галины, сестры, башмаки.

Ну, вот и пошла. Прихожу в монастырь, приходим к Манечке. Манечка опять всех распихала, опять меня за руку тащит вперед и говорит: «Ты у матушки Августы живешь?» Я не знаю, что ей и говорить. «Я, — говорю, — нигде пока не живу, пришла помолиться». — «Матушка Августа тебя любит, она у нас строгая, а тебя любит». Пошли мы к письмоводительнице, к матушке Анатолии. «Так и так, — говорю, — я хочу остаться». Она говорит: «Погодите, пойдем к Манечке, пойдем к матушке Игуменье». Опять пришли к Манечке. Она и говорит: «Матушка Августа уж ей кровать поставила». (А матушка Августа еще и знать не знает.) Ну, пошли к матушке Игуменье. Матушка Игуменья сидит на крыльце. «Вот, матушка Игуменья, девочка пришла в монастырь, жить хочет остаться». А матушка Игуменья говорят: «Паспортто есть у нее? Да как родители?» Я говорю: «Я не сказала родителям». — «А Манечка как?» — «Манечка сказала, что ей кровать матушка Августа поставила», — «Ладно, пускай остается, уж как говорится...» А тут по воду идет мать Августа, у которой мне жить. Одно ведро деревянное, одно — железное. Игуменья кричит. «Мать Августа, пойдика сюда». Она подходит. «Вот девочку к тебе жить». — «Благословите, матушка Игуменья». Ну, вот я и

пошла к ней. Мне тут кровать принесли, конечно дело, матрасик, подушку, все дали. Вот и стала жить. А дома у Тяти аккуратно весь хлеб в это время отобрали, все у нас увезли. А то бы они сразу за мной приехали, а тут Тятя поехал в Вятку за хлебом, тут было не до меня. Хлеб весь выгребли. Да, так и стала я жить в монастыре. Дожила до Иванова дня, всего четыре недели прожила. А у нас одевали послушниц только через три года — все в своем ходили. А мне сразу в церкви послушание дали — записывать да принимать помянники. И на Иванов день приехал к нам епископ Агафангел. Он привез мало обслуги, только протодиакона да еще кого-то. А тут много надо и посошницу. А у нас была одна девочка в рясе. А Владыка говорит: «Мне надо еще такую девочку одеть». Вот матушка Игуменья говорит «У меня семь есть еще не одетых». — «Давайте их всех сюда, в церковь». Всех нас в церковь привели. «Поставьте, — говорит, — всех подряд, которая за которой приняты». Нас всех так и поставили. А я — последняя, меня только что приняли. Он вот всех нас обошел, всех благословил. Подошел ко мне, взял меня за руку и вывел.

«Вот эту девочку мне оденьте». Вот меня и одели, к матушке Игуменье повели, туда одевать.

А рясы такой не было маленькой на меня. У другой девочки взяли и одели меня в эту рясу.

Благословили меня и повели. Матушка Игуменья говорит. «Не убейся, да и меня не убей». А я: «Ничего, — говорю, — пройду помаленьку». Они говорят: «Вот деревенская-то неопытность».

Надо бы мне сказать: «Благословите, матушка Игуменья, помолитесь». А я вон чего сказала, чучело деревенское, — «пройду помаленьку»... И поставили меня на солее перед Царскими Вратами. Я с подсвечником, а та девочка — с посохом... Отстояла я все это хорошо. После этого еще нас Владыка благословил и по голове погладил за это, что хорошо мы провели.

Служил он еще и обедню. После обедни — пришли на обед. Трапезная у нас хорошая была, низ каменный, домовая церковь, а верх деревянный, там келий. И я там со сноси старицей жила.

Отобедали, встали из-за стола, благодарственную молитву отпели и стали Владыке хором петь стишок.

Матушка Игуменья составила стишок и на ноты положили:

Ликуй, пустынная обитель,

Радость Бог тебе явил —

Наш Владыка и Святитель

Тебя сегодня посетил.

Владыка, Ты в годину страха

Для всей мятущейся земли

Носись душой превыше праха

И ликом ангельским внемли.

С Крестом в руках, как светлый гений,
Любовью к ближнему согрет,
Ты в мир страстей и прегрешений
Христовой веры вносишь свет.

Прими же, Пастырь вдохновенный,
Простой наш искренний привет,
И стих простой, самосложенный
Пустынный хор Тебе поет.

А он стоит, и слезы у него так и капают... Ладно-хорошо... А на Воздвиженье приехали ко мне родные первый раз. Сестра да тетка. Привезли мне кое-что из одеянья да из обуви. Так и живу я у матушки Августы. Я у нее три года жила. Она меня любила. Если расстроится, не ругается — только скажет, бывало: «Ты, дорогая моя, ангел мой, как казанок, в самом деле». Лет ей было семьдесят с лишком. Она была у нас самая первоначальная монахиня, прямо в лес пришла. Первая Игуменья была Августина, по-мирскому Анна Она была за священником замужем, полгода жила, он и умер. И был тогда старец Варнава, он ей благословил пешком сходить в Иерусалим, два года она ходила, потом опять к нему пришла. Он ее благословил: «Иди в это место и не оглядывайся». А тут всего-то была одна келейка да часовня... И пришло с нею шесть человек — матушка Августа моя, шестнадцати лет, матушка Таисия, регент наш, — зиму и лето босиком ходила и в бане не бывала — так жила. И еще четверо. Стали к ним приходиться и другие сестры, стало двенадцать человек. Тут они домик выстроили, тесно в келье стало. Стали жить. И вот кто-то этот домик поджег. Среди ночи. Все у них сгорело. И они снова стали строить. И умерла матушка Игуменья Августа ста трех годов. Монастырь уж большой стал — землю им барин Лытиков пожертвовал. Два священника у нас было да диакон. Потом уж один стал: иеромонах отец Антонин помер потом, один остался — отец Петр. Его потом выслали и там, в ссылке, заморозили на Межвежьей горе. Его и отца Димитрия Воскресенского.

В прорубь их опускали. Опустят, поморозят — лед схватится на них, потом опять опускают...

Это уже в тридцать седьмом году, в резоляцию, когда нас всех поголовно забирали. А лес вокруг был дремучий. До самого Архангельска полоса, и уже двенадцати верст ни в каком месте эта полоса не была. Медведей много было. Я, помню, коров пасла в скиту от Егория до Покрова. Коровы пройдут, телята сзади — а в середине-то медведи ходят. Сорок лет монастырь существовал, и ни одной не повалили они у нас. А как нас разогнали, да «скульскую» артель сделали, так начали валять коров — я те дам... Семнадцать штук повалили медведи. Два пастуха пошли, да и с ружьями. А у нас, мы пасли — только дудка... А сестры на меня поначалу роптали.

Зачем меня, такую, только пришла из миру — а уж в рясу одели и на клирос хотят поставить?

А там все на работу идут — поют, а я к ним и приставала. А у меня пение было не хуже ихнего, я уж ноты знала... «Вот, — говорят, — хотят на клирос поставить, а надо бы на скотном года три. Каждая живет па скотном. Пришла какая-то из миру, соплятая девка деревенская...» Которая чего скажет. Ведь им обидно. И я сознаю, что обидно. А работы у нас очень много было.

Не было времени, чтобы не работать. Осенью да зимой — лес. Один собор отопить в день — воз дров. Да три корпуса, их надо отопить. Да государству — лесозаготовка. Летом — сенокос, поля. Сено возить надо. Скотный двор — сорок дойных коров в монастыре, восемнадцать дойных в скиту.

Каждый год гектар вырубим леса, выкорчем пенья, каждый год. Большое хозяйство.

Десять лошадей езжалых да две обучать... А я на лошади наездник, не хуже цыгана буду. Я до чего любила лошадей. Был у меня жеребенок Соколик, вороной битюг. Он никому не дастся, только я да мать Клавдия — конюх. А так никому не дастся. Большой шаг у него был, широкий. А в хлев к нему никто, кроме меня и матушки Клавдии, зайти не мог. Я помню, уж и монастырь разогнали, я на приходе служила и шла к ним на всеобщую под Севастианов день.

Там еще семнадцать старух жило, и в трапезной служба была. Отец Сергей, диакон наш, служил, его уж в священники посвятили. И вот иду, а эти артельные муку с мельницы везут. Я как увидела: «Соколик!» Он и остановился. Он стоит, и я стою... Они его и стронуть не могут.

Ну, пошел кое-как. А потом мне сказали, что пристрелили его, не давался он им. Ох, я и ревела... Нет, без дела мы в монастыре не сидели. Летом в воскресенье после обедни — в лес по ягоды. Я больше всех наберу, я сроду лесовая бабушка... По вечерам четки мы делали — матушка Игуменья, я, Вера, Ефросинья. Девять бусинок, десятая пронизка. У меня четки красные были, голубые, хорошие. А когда Владыка обряжал, дал шелковые, черные, большие, я тоже их берегла И вот на Николу на зимнего меня на клирос поставили. А Тятя с Мамой потом ко мне в монастырь ездили. Не один раз ездили. А последний раз Тятя Постом приезжал. Он уже был «оверхушенный» — это значит, на раскулачивание его... И всю-то зиму он лес возил на своей лошади с заготовок.

Всю зиму у них отработал. И привез мне такой вот лоскуток ситцу на платок да соли двадцать фунтов. «Вот, — говорит, — Санька, за всю зиму у них заработал и все тебе привез. Соли только маленько дома отсыпал. А это все тебе привез». А я дура была, на соль эту четки янтарные выменяла у матушки Анны Панкратьевой. Уж больно мне хотелось янтарные. У всех белые — а у меня янтарные... А Тятя говорит: «Ну, бери, Санька. Может, соли еще, даст Бог, достанем». Я год на клиросе простояла, уж через год стала трио петь. Голос у меня был ужасный — дискант. Бывало «разбойника» запою, так у меня лампадочки и заговорят. А потом стали меня учить на регента.

Сама матушка Игуменья Леонида, она с трех лет в монастыре, хороший регент была.

Было ей лет под семьдесят. А сама все делала. Вот уж и дрова для своей кельи заготавливала Ольховые... В соборе-то у нас осиновыми топили — в день воз дров для собора. А она ольховые любила.

Пойдет сама в лес... Пила у нее маленькая с одной ручкой. Ножовка, Повалит деревья, испилит все и сложит — только вывози. Наготовит на свою келью в зиму десять возов. Както идет из лесу с пилюю, а я ей навстречу. «Благословите, матушка... Поди, деревья три повалили?» Смеюсь.

А она: «Что уж, как говорится... Я двадцать три свалю!» Бывало, позовет меня к себе вечером.

Сидим с ней. Поем. Она ой петь любила. А голос какой у нее был... В монастыре она была с трех годов. Сирота она была, ее и отдали. Только уж конечно не в наш. В Покровский какой-то монастырь, уж не знаю, где он и был... Чаю она не пила, только кофий. Была у нее кружка фарфоровая, аккурат на три стакана. Выпьет ее, скажет: «Вот я кадучечку-то эту опорожнила, как говорится». Это у нее как пословица была — «как говорится». Она меня любила: «Шурка маленькая все сделает». Я в монастыре все «Шурка была маленькая». Мне не любо было, как меня Александрой Николаевной стали звать, я все думала, что я Шурка маленькая...

Раз корчем мы пни да поем «Дубинушку», а матушка Игуменья мимо идет. Как услышала, кричит: «Шурка!» Я молчу, притаилась. Опять: «Шурка! Ах, ты скачок. ямкой! Вот погоди, в праздник на поклоны станешь»... У меня все сходило. Раз зимой ельник рубили, уж темно, а мы все работаем.

Матушка Эсфирь — она тоже была трудолюбивая — все работает и работает. А уж темно. Я еще в лаптях была, валенки мне не привезли. А я как запою:

Поглядели бы родные,

Чего Шурка делает:

В лапотищах по снежицу

С ельничцем бегаёт!

А матушка Эсфирь: «Господи Иисусе! Пойдем все скорей домой. А то она у нас заплашет!» А тут у нас такое дело получилось. С Мать Иришей... У нее уж постриг был, она была рясофорная. И певчая превосходная, и иконописица. Она с трех лет в монастыре.

Она не видывала, как пляшут, и как песни поют не слыхивала. Было ей уж лет под пятьдесят. А вот тут какое с ней получилось дело. В аккурат на Мариино стояние... Поем канон. Слышим, кто-то во всю головушку орет на клиросе. Матушка Игуменья думали — Ксения. И врозь орет.

«Как говорится, Ксения, что ли?» — говорят Матушка. «Да нет, — говорим, — Ксения — вот она». — «Да кто же это?» Глядим, а это Мать Ириша — во всю головушку. Домой в келью пришла из церкви — все начала кидать. Деньги у нее тут какие-то были. Все выкинула: «Ничего мне не надо. Потому что я уж теперь не с вами. Я уж на небе». — «Да Мать Ириша...» — «Не Мать Ириша! Я — девица чистая, богоотроковица. Чего на земле делается?» — и смотрит так вниз.

«Господи, Мать Ириша с ума сошла!» — «Я вам сказала, кто я!» Вот и началось. Все выкидала.

«Ничего мне не надо!» И сила-то какая взялась — насилу шесть человек ее к кровати привязали... В окошко тут мы ей ставни вставили — лезет везде, совладать не можем. А сила-то, сила. Нас поставили, меня и мать Анну Власову к ней. За ней ухаживать. Она все меня «Шуреночек, косареночек... дай мне попить водички с помойной ямы». — «Не дам, — говорю. — Вот скажи: Господи, благослови. (А с нее пот-то, пот-то...) Да перекрестись. Вот богоявленская вода, напою сейчас». — «Нет, не скажу!» — «Не скажешь, ну и сиди. Не дам воды». Уж она просит, просит. До тех пор доведем: «Скажи: Господи, благослови, да перекрестись — сейчас попьешь». Как перекрестится, скажет — вся ослабнет. Попьет святой

водички... Тут я снимаю с нее рубаху — хоть выжимай, вся мокрая. Надеваем на нее чистую.

Положим ее на кровать — она уж ничего не может... Я побегу домой, печку истоплю, приберусь — ведь я у старицы жила. Иду обратно. Как она меня в дверях схватит! «Ах, Шуренок, косаренок!» Как схватила, так у меня кофты как не бывало — разорвала всю. Как погляжу, крест у них был большой медный, толстый — пополам переломила — вот какая силища. Тут матушка Игуменья говорят: «Надо у нее молебен отслужить. Спасителю». Спаситель-то у нас образ чудотворный был. Отец Петр у нас служил тогда. Я прихожу к ней, а она мне и говорит «Ты знаешь?» — «А чего?» — «Сегодня ко мне принесут чудовище. Два эфиопа. (Это она про икону да про матушку Игуменью с отцом Петром.) Куда же деваться Святому Духу?» — «Какой, — говорю, — у тебя Святой Дух?» — «Куда ему деваться, пока они здесь?» Ладнохорошо. Обедня отошла, матушка Игуменья несут икону Спасителя, водосвятие приготовили. А Мать Ириша: «Ой! Чудовище-то тащат! И два эфиопа идут». А она к постели привязана. Молебен отслужили.

Она лежала как мертвая, вся даже потемнела. Окропили ее святой водой. Как они ушли, развязали ее, она говорит: «Вот ведь Святой Дух на помойной яме стоял, пока были здесь...» — «Вот, — говорю, — и святой твой дух... Да и ты эдакая же...» Тут Мать Анна Каткова подошла.

«Уйди, — говорит, — окаянный, страшилище, из рабы божией Ириши. Она ведь у нас какая хорошая была, а ты ее, окаянный, испортил. Страшилище!» — «Я, — отвечает, — не страшилище, я — хороший». — «А как тебя зовут?» — «Лёлёшенька». — «Почто ты пришел?» — «А она, — говорит, — сама виновата. (А у них кошка была Кисарка.) Она, — говорит, — в полночь выпустила свою Кисарку и напилась из кринки воды. Вот я в нее и вошел». Ой, что она, бедная, делала! Ее уж и в прачечную запирали. Там пляшет во всю головушку и предлагает себя всем.

Пляшет «советского», пляшет, потом станет, вниз поглядит: «Чего на земле делается?» И опять пляшет. И уж ничего мы не можем сделать. Пришлось ее отправлять в сумасшедший дом. А как везти? Ведь она не поедет. Никак ее не собрать. Пришли к ней: «Мать Ириша, собрание было». — «Какое?» — «Матушка Игуменья у нас уезжают». — «Уезжают? Вот и хорошо. Да кого поставят?» — «Да тебя выбрали». — «Меня? А все ли согласны?» — «Все, все согласны. Собирайся, поедем к епископу благословляться». Собрались. Это после Троицы.

Пальто ватное, длинное. Подпоясалась ремнем. На голову большой платок теплый. Повезли на лошади эдакого чучела. Везем ее так. За каждым пастухом гоняется, каждому пастуху предлагается.

Ловим ее, куда деваться? Трое нас с ней едет. А как в Рыбинск привезли, в Рыбинске-то еще хуже делала.

Солдаты навстречу идут. Она соскочила — не могли удержать. Так одного солдата под руку схватила. Он вырывается. «Чего же вы?» — говорит. А мы: «Да видишь, что сумасшедшая?» Сдали мы ее врачам, и отправили ее в Кострому. Тут уже мы не знаем, как было.

Только уж нам скоро написали, что она там померла. Она и году не прожила там, бедняга... Очень мне нравилась жизнь монастырская. Мне и работа нравилась, мне все нравилось, я никогда не каялась, что пошла в монастырь. Мне нравилось, что там никогда не ссорились: «Прости Христа ради». — «И меня прости». Вот и все. Делай наряженное (что велют) и ешь припасенное. А кормили как — щи, хоть портянки полощи. Чего там — капуста да картошка, да лук, да мучки ячневой прибавят, — а вкусно-то как! Потому что все с молитвой, все благословенное. Или хлеб...

Бывало, богомольцы все просят «Нам бы маленько хоть вашего хлеба, монастырского». А мы

такой же печем, только с молитвой... В праздник щи получше варили, из белой капусты.

Большие праздники — суп с грибами. Шутка ли — сто тридцать человек накормить. А закрывали наш монастырь самый последний. Был уже двадцать восьмой год. А мы все делали, что они нам приказывали. И все налоги им платили. Приказали нам свиней разводить, мы купили свиней. Хоть и не монастырское это дело... В двадцать седьмом году, аккуратно на Похвалу Богородице, приехала из Пешехонья одна, партийная, будто бы учительница — Апполинария, и стала она нас по очереди вызывать, молодых. Меня — в первую очередь. «Зачем ты сюда пришла?» — «Жить». — «А кто тебя послал?» — «Никто не послал». — «А кто позвал?» — «Никто не звал». — «Надо тебе замуж идти. Вот я замужем живу, у меня мальчишка растет. У меня в жизни есть интерес». — «Пожалуйста. У вас свой интерес, у нас свои интересы». — «Это неинтересно. Вам здесь не место». — «Почему же? Мы здесь живем, работаем...» — «От вас пользы нет. Какая от тебя польза? Ты живешь одна». — «Почему одна? Нас вон сколько здесь живет. Мы работаем, государству платим, что на нас накладывают». — «Хватит вам здесь. Ступай замуж». — «Это дело не ваше, идти ли мне замуж». — «Ты такая хорошая, такая бы мать была...» Наобещала мне она раев да садов, всю жизнь расписала. «Значит, не пойдешь из монастыря?» — «Не пойду. Буду тут до конца. Живи ты, как хочешь, а я — как изволю». После меня другую вызывают: «Ты чего скажешь?» — «Я — как она». Третья — тоже... Она говорит: «А что Игуменья у вас делает? Наверное, спит да лежит?» Тут все поднялись: «Нет, у нас Игуменья работает больше нашего! Такое хозяйство! Два раза в неделю в Пошехонье, двадцать пять верст. Она загнет подолы, босиком и покатит Игуменья». Так и уехала наша Апполинария.

Больше она к нам не приезжала... Ладно-хорошо. Отслужили мы Пасху, а после Пасхи форму с нас сняли — велели ходить как деревенским, в платках. Вот тут мы ревели. А летом приехали и собор наш запечатали... А мы, молодые, летом в скиту работали. И вот матушка Игуменья в скит идут, подзывают меня: «Шурка, беги в Сохоть. Попадутся они тебе навстречу — их обойди... Скажи матушке Феодотии, чтобы из собора в боковые двери антиминсы вынесли». Я и побежала. А они мне навстречу едут: «Куда?!» — «А там, — говорю, — лошадь молодая есть, нужна нам». Пропустили... Так через боковые двери всю святыню вынесли монахини.

Стали служить в трапезной. Осенью приезжает Скуев. Приказывает, отделить нас от монахинь-старух, чтобы мы их не кормили: «Это, — говорит, — хлебоешь ваша». Мы говорим: «Мы не будем так жить». Скуев говорит «Надо старые зубы выдергать да новые вставить». А я: «Знаем мы ваши зубы. Мы нажили, а вы прожить хотите». — «Это кто говорит?» — «Это я говорю». — «А ты кто такая?» — «А вот вы же видите, кто я такая». — «Давайте, подписывайтесь, кто в артель», И вот стали новые зубы вставлять. Приехал эстонец Вевер Сергей Августович, Петр Алексеевич Яя, Петр Петрович Петров (мы его прозвали «косоротый» или «три Петра в одном Петре»). Ну, уж работали они не по-нашему. А год сырой был, с сенокосом — беда. Дождь, глядим, собирается, надо сено убрать. А они сидят, обедают. Мы прибежали: «Скорей!» А Петров как старший отвечает: «Пока не отобедаем, не пойдем». А всего-то к ним в артель из наших человек двенадцать записалось, молодых. Скотницами они остались. Ну, которым некуда было идти. А у меня уж место было — за мной сразу приехали. Выгнали нас аккуратно на Покров: «В 24 часа освободить!» И дали нам по два пуда хлеба каждой — за лето... Приехали за мной из Грамотина, двенадцать верст от монастыря. Поехала я к ним псаломщиком. Служил там отец Димитрий, которого заморозили в резоляцию. Воскресенский. Отец его у нас в Сохоти был диаконом, они меня хорошо знали... Ну и народ, прихожане. Они наши соседи были — двенадцать верст, ближе к монастырю жилья никакого не было. Большое было село, приход большой — двадцать пять деревень... С отцом Димитрием мы хорошо служили. Спевочку в церкви сделаем. Я пригласила всех желающих, приходите петь... И служили мы с ним четыре года. А было это время, когда всех обирали. Вот приходят они сначала ко мне — обыск! А у меня была одна шуба, в которой я в лес ездила. Да два полотенца. Помню, как Мациор мою шубу тряс: «А где

у тебя остальное?» — «Остальное, — говорю, — на себе». И спрашивает других монахинь (одна у нас была просворня, другая — сторож): «Где у нее именье?» А матушка Еликонида, она у нас в Грамотине просворы пекла, отвечает: «У нее одна рубашка на себе, другая в трубе». — «А где у нее хлеб?» А муки у меня в кадке с пуд всего. Так ничего и не взяли, ничего не нашли. А после меня пошли к батюшке, он в своем доме жил. И обрали его дочиста. В одном тонком подряснике оставили. И было у него такое маленькое Евангелие и Псалтирь. Он им и сказал: «Мне ничего больше не надо». А дом-то у него был двухэтажный. Они там наверху все золото ищут, а я потихоньку внизу из ларя ведрами муку таскаю. Шесть ведер муки унесла к себе. Дом у него отобрали и повели их с матушкой в другую деревню. Три семьи жить в один дом. А мальчишка был у них Генка, пять годов, — я его к себе жить взяла. Он все мне говорил: «Давай молиться: радуйся, Серафиме. И никого не вышлют — ни папу, ни тебя, ни маму...» Я к ним тогда каждый день ходила. Испеку хлеба — мука-то у меня — и принесу им. А потом уж они в сторожку жить перешли... Хороший был священник, шутить любил, но серьезный был. И матушка у него очень хорошая была. Мы с ней были, как сестры, все вместе. А по соседству в Яковце у нас матушка Таисия жила из нашего монастыря. Она у нас первоначальная была — сорок лет только в нашем монастыре прожила. Она очень хорошая регентша была и на фисгармонии бесподобно играла.

Только уж она взяла подвиг юродства — зимой и летом босая ходила и в бане не мывалась. Как раньше чистоту любила, так тут залюбила грязь. И двадцать лет в церковь не ходила и не причащалась. А прозорливая была, вот как Манечка. Вот загореться у нас диаконову дому.

Смотрим, за неделю до пожара матушка Таисия, босая, подолом снег к дому этому таскает да и стены снегом обваливает. Да и приговаривает: «Таскайте! Таскайте! Все таскайте! — а никого с ней и нет. — Валите, валите снегу-то». А через неделю этот дом и загорелся. А потом наш корпус желтый — тоже горел. Это аккурат на Николу. Тоже она за неделю снег таскает... А тут уж в Сохоти, у нас в монастыре, вшивики эти жили. Три фисгармонии у нас забрали, а к ним и подойти у них никто не умеет. И у матушки Таисии в келье стояла фисгармония. И вот она два года еще к ним ходила играть. Они ее ждали даже. Уж она в Яковцеве живет, придет — босая. А они: «Идите, идите, там отперто». Она садится и целый день играет. А они соберутся и слушают.

Так целый день у них и играет. Утром в Сохоть уйдет, а вечером домой прибежит.

Ей уж поди было лет восемьдесят. А тут заболела она и перед смертью говорит «Мне надо исповедоваться и пособороваться». А хозяйка ее Анна Матвеевна говорит: «Какого тебе батюшку позвать?» — «Меня, — говорит, — наш Митенька пособорует...» (Отец Димитрий ведь у нас в монастыре рос, сын диакона.) Анна Матвеевна бежит ко мне в Грамотино: «Матушка Таисия заболела да зовет отца Димитрия» Пришли мы с ним. Исповедал ее батюшка, стали соборовать.

Причастилась.

Стала я с ней прощаться. Я говорю: «Не умирай Пока я в город съезжу, в Пошехонье Мне надо Манечке да матушке Паисии, казначее, муки им свезти... Я приеду, хоть по тебе почитаю». — «Нет, — говорит, — ты уж не почитаешь. Хорошо бы, ты почитала, да не почитаешь».

Я ей сахару принесла да чаю — тогда ведь нигде этого не было, а мне председатель безрукий Ваня доставал. Чай-то я всем им и делила. Поехала я в город, а она через два часа и померла. Отпели мы ее с отцом Димитрием, похоронили у церкви в Грамотине... Ладно-хорошо. И тут как-то приходит ко мне отец диакон Николай, из Янгосыря, нашего прихода. Он меня когда-то и петь учил на клиросе, дома. Только уж он не диакон был, а так ходил — шорничал. У него как получилось: дочка у него была Нина, моя подруга. Училась она в Вологде, на учительницу. И вышла замуж за коммуниста Бориса Пьянкова, он ее и

перевоспитал. А она на мать да на отца...

И заставили они отца от сана отказаться. И вот пришел он ко мне, ночевал, и в церковь пошел со мной, и на клиросе пел. Две ночи у меня ночевал, все плакал. А я ему говорю: «Не поздно, можно еще возвратиться, покаяться». — «Нет, — говорит, — теперь жена не пустит».

А я их всех знала. Еще из монастыря, я помню, отпустили меня навестить родных. Там узнали, что я приехала, да и посылают ко мне сына Мишутку. Дескать, Нина с мужем приехала. Тут я их и увидела. Двое детей у них было, девочка — Сицилия (Циленкой ее звали), а мальчишку звали Ленгорск. Я говорю: «Чего вы это выдумали?» — «Как чего? — говорят. — Самое хорошее имя, тут Ленин поминается». А девочка у них все ходит да поет:

Дым с кадилъницы идет

К небу кольцами,

Ничего попам не сделать

С комсомольцами!

«Это, — говорит, — меня папа научил». Ну и чем у них все кончилось? Жена у диакона в больнице померла, да так ее там и похоронили. А потом сам он в больницу попал Сыну говорят: «Мишка, отец в больнице лежит». А он: «Ну и пусть лежит» Так и его там похоронили. А уж какие в больнице похороны... А Пьянков, он в ГПУ у них работал, каким-то предателем оказался Жена же на него и донесла. Его и расстреляли... Ладно-хорошо... И прослужили мы с отцом Димитрием в Грамотине четыре года. А потом пришлось ему в УГЛИЧ переехать. Год он там прослужил, потом его забрали, и уж как в камский мох — ни слуху ни духу. Много тогда увезли, первый набор был. УЖ потом знакомые (были с ним высланы) сказали, что его заживо заморозили, вместе с отцом Петром. На Медвежьей горе... И стала у нас церковь без службы. И вот идет ко мне одна наша певчая и говорит «Пришел к нам батюшка Мелкое и дел». Я думаю, что за чудо такое? Пошла, смотрю, а это — иеромонах Мелхисидек. Он еще в монастыре у нас бывал, был монахом на Валааме. Валаам-то вперед всех монастырей разогнали. Да только он недолго у нас в Грамотине прослужил, году не служил, — налогу, видно, испугался, да и ушел. А на Покров пришел к нам отец Иван Захаринский. Нашего же уезда Страшный пьяница. Над женой издевался. Тут ему пудов семь муки собрали да самовар. Самовар он топором в лепешку пьяный разбил, а муку всю в уборную высыпал. Все кричал: «Самогонку заваривайте!» И служил почти что год. А зять у него был Карповский, инспектор уголовного розыска Зубы — как волчьи. Вот он зятю-то своему все и рассказал, где у нас в церкви да что. И приехал Карповский — отобрали ключи, все увезли, церковь запечатали. Это был тридцать третий год. Ах, какая церковь была!

Большая, вот как здешняя. А Ваня этот Захаринский четыре церкви так-то вот закрыл. Зиму и лето все в тапочках ходит, все пропивал. И помер он, шел пьяный и помер у пруда в деревне Гвоздеве. Там у пруда его и зарыли. Вот ведь какую смерть себе нажил... И тут целое лето я не служила. Но без места я мало была. Приехали за мною из Телешина, тоже от Сохоти двенадцать верст, только в другую сторону. Церковь там Вознесение, а священник был Покровский, отец Петр. Было у него три сына, один женатый, а два — неженатых. Их обоих еще до меня посадили. И прослужила я с ним неполный год. Девятого июня, там праздник Кирилла Белозерского, Кириллова година, — меня забрали. И привезли в Пошехонье, в тюрьму. А тогда еще тюрьма «закдом» называлась и окошки еще были не заколочены. Сначала-то я две ночи ночевала в ГПу. Забрали босиком, не дали даже одеться. И вот привели меня в тюрьму. Я говорю: «А теперь меня куда?» — «Все, вот здесь будешь». —

«Квартира-то, — говорю, — хорошая. И хлеба будут давать?» — «Будут». (А еще там никого не было, я первая пришла в камеру.) — «Вот, — говорю, — дожила: квартира бесплатная, хлеб». — «Не скаль, — говорят, — зубы». Ну, немного прибралась в камере, сижу. Первые две недели очень строго — даже в туалет с милиционером. Тут стали подсаживать баб. Всех — за колхозное добро. С колхозного поля. Две бабы по подолу гороха нарвали — дали по десять лет. Одна выдернула три свеклы — этой восемь лет. Теперь сидим, приезжает прокурор области, кулаки, как моя башка. Всех спросил, кто за что сидит. Ко мне... А начальник тюрьмы Тихвинский говорит: «Это монашина подозрительная, у нас с ней разговору нет». И так ушел прокурор. Три дня прошло, приезжает начальник областной. И он обо мне спросил. Тихвинский ему так же ответил. «Нет, — тот говорит — дай-ка я с ней один поговорю». Все меня расспросил, как фамилия... И говорит: «Я твое дело видел, ты сидишь ни за что. На днях тебе освобождение». И тут вскоре приходит опять Тихвинский и посылает меня работать бригадиром. Мне утром дали прибавку сто грамм хлеба и огурец... Дергали мы лен. Вечером пришли, опять мне прибавка сто грамм... Три дня проработала, приходит опять начальник: «Знаешь что, принимай прачечную». Приняла я прачечную.

Дня четыре поработала, потом меня солить капусту и огурцы... Тут уж мне и пропуск на волю дали. И даже старостой сделали, заключенных я принимать стала. Вот раз и говорят: «Иди новых принимай!» Пришла я, обалдела — матушка Игуменья! Как и принимать... Я говорю милиционеру: «Она из ГПУ, наверное, вшей у неё много. Надо в баню ее». А он говорит: «Не надо» Я говорю: «Нет, она нас вшами наградит». И принесла я две шайки горячей воды, вымыла ее. Белье ей чистое подала А Матушка говорит «Ничего мне не надо. Я и спать тут не буду, и есть не буду». — «Нет, — говорю, — Матушка, все будешь — и есть, и спать». И просидела я с ней месяц. Ее все в одиночку водили, все золото спрашивали у нее. А у нее ничего не было. Они не верили, ее много мучили. И вот сижу я уже три месяца — четвертый. И пишу я заявление, а меня — к Карповскому, это инспектор уголовного розыска, зять Ивана Захаринского, четыре церкви они закрыли. «Сижу, — говорю, — без вины». А он: «Погоди, будет тебе и вина». И решила я объявить голодовку. Написала заявление, положила кусок хлеба да и отправила обратно. Прибежал начальник, стал уговаривать: «Ты не дело делаешь, в таких годах себя гробишь». А я: «Все равно не буду есть хлеб. Буду умирать». На второй день приносят мне две доли хлеба — за оба дня. Отправляю и эти, прошусь в одиночную. Меня не переводят. Вечером пришел врач, пришла комиссия — судья пришел, следователь пришел. Врач говорит: «Очень слаба». Следователь стал спрашивать: «Что за дело?» — «Не знаю, — говорю, — я монашина, была в монастыре». А судья Посадский: «Снимай голодовку, двадцатого тебе будет суд». Тут уж я стала есть. Привели на суд, самую последнюю спрашивали. И постановление: освободить изпод стражи. А мне женщины пошехонские натащили всякой еды — пирогов да булок. Я целую шаль набрала да в тюрьму отнесла — матушке Игуменье. Начальник не отпускал меня: «Куда пойдешь? Ночь. Ночуй, дождь...» (В одиннадцатом часу освободалась я.) — «Нет, — говорю, — возле ограды лягу под дождем, а на воле». И блудилась я по городу в темноте до двух часов.

Утром пришла домой в Телепшино. Только тут уже не отец Петр стал, он умер. Стал тут теперь отец Иван Зайцев. Он монах был. Хорошо служил. Да только меня таскают да допрашивают. Раз отпустили: дескать, как себя поведет. А я все так же себя веду — в церковь хожу, пою да читаю.

А тут и церковь у нас закрыли, свои же, местные. Отобрали ключи, и все тут.

Коммунистка у них была Иголкина, так она на меня больно кричала: «Такая молодая, а в церкви служишь! Могла бы в сельсовете работать!» — «А я неграмотная», — говорю. «Врешь! Была бы неграмотная, в церкви бы не служила!» Но тут уже я в Телепшине почти не жила, узнали, что я без места, в Лесине, за сорок верст. Там Анна Петровна была, сама-то из Телепшина, а замуж была выдана в Лесино. А меня уж там знали. Приходит она и зовет к ним в церковь, письмо принесла от отца Константина. Пошла я туда на воскресенье. Церковь большая, батюшка старый... Квартира — сторожка каменная, большая квартира Ну,

поступила я. Дали мне две подводы, со мной еще одна монашенка поехала — Мария, я ее сторожем устроила.

Отец Константин. Старый старик, хорошо мы с ним служили. Вот пойдём с ним на потребу, чаем угостят. Он только одну чашку выпьет да прикроет ее рукой: «Больше не буду». А я говорю: «А я одна пить не буду». — «А ты пей, пей, пей». Вина не выпьет — Боже упаси!

Церковь сам запирает всегда, ключи у него были... Ладно-хорошо... А тут году, что ли, в тридцать пятом пришли к нам обновленцы. Сначала к батюшке во флигель. Псаломщик ихний Сергей, староста и священник обновленец отец Арсений. Пришли к батюшке: «Вот так и так. Переходите к нам».

А отец Константин: «Нет, уж я какой из колыбельки, такой и в могилку. Не пойду, — говорит, — никуда». Арсений: «Служить вам не дадим, теперь уж везде обновление». — «Ну, пускай там обновляются, а я старый. Какой есть доживу». — «А кто тут у вас еще есть?» — «Псаломщик есть у нас». — «А где псаломщик?» — «А вон, — говорит, — в сторожке живет. У нас не псаломщик, а псаломщица Александра Николаевна». Пришли ко мне. «Вот, — говорят, — псаломщица». — «Вот и слава Богу. Ты к нам пойдешь?» — «Нет, не пойду».

Повернулась, да и вышла. А псаломщик ихний, Сергей Донской — он часто ко мне ходил, у них приход всего пять верст от нашего — за мной пошел. «Как, — говорит, — думаешь, устроите?» — «Думаю, устроим. Бог поругаем не бывает. А это у вас раскол. Я в раскол не пойду». Так и не пошел он с ними больше. Ушел на другой приход. А Господь так устроил, что они только еще года тричетыре послужили, а потом их всех выкинули... Ладно-хорошо... И так прослужили мы с отцом Константином до тридцать шестого года. И вот после Успения церковь нашу закрыли.

Пришли председатель сельсовета Куринов и милиционер Петухов, сотрудник НКВД из Пошехонья. «Где ключи?» — «У батюшки». — «Подайте ключи! Никаких разговоров!» Батюшка ключи подал... А на другой день колокола сбрасывали. Ой, сколько я церковью оплакала, как закрывали...

Монастырь, Грамотино, Телепшино, Лесино... И тут вызывают меня в сельсовет.

Петухов спрашивает: «А где у тебя муж?» А я говорю: «Мой муж объелся груш, и утащил его уж». А Куринов говорит: «С такой проституткой разве муж будет жить?» — «Нет уж, — говорю, — проституткой я не была». — «Это, — говорит, — хуже проституции. Придется тебе посидеть».

— «Не все, — говорю, — сидеть: придется и полежать, и постоять». — «Не скаль зубы-то»... А они чего так злобились — я со старостой все хлопотала, чтобы церковь у нас опять открыли. Я по деревням ходила, записывала верующих — пятьсот семьдесят человек у меня подписалось...

Ну, на этот-то раз они меня отпустили. Только тут вскорости приходят ко мне и говорят: «Тебя не сегодня завтра арестуют. Надо тебе уходить». И тут стала я скрываться, а это хуже, чем в тюрьме сидеть. Пошла сначала в Патрихово, там старики двое жили, а сын у них партийный.

Постучалась — пустили. Накормили. «Полезай, — говорят, — поскорее на печь. Авось Ванька сегодня не придет». Три ночи я у них ночевала. Потом хозяйка пошла в Телепшино узнавать.

Говорят «Только вчера были, о ней спрашивали». Вернулась я домой. Ночь переночевала, вечером Стеша идет: «Приехал Постов, опять про тебя спрашивает, опять о тебе разговор». Надо бежать, а уже ночь. Тут уж никакой буки не боишься, ни волка, ни покойника, лишь бы человек тебе не попался. Тут я пошла в Якушево, километр от нас, тут старушка была, с дочкой жили.

Вот в этих-то двух домах я все больше и скрывалась. Сама Татьяна да дочка Паша. Потом пришла домой — опять нельзя. Пошла в Вологду, потом на родину. На родине ночевала две ночи у Мамаы и двух сестер. «Иди, — говорят, — мы из-за тебя боимся». А зять один тоже был партийный... В самой Вологде три ночи ночевала у знакомых. Надо идти домой.

Стеша говорит, вот уже три дня никто не ездит. Вроде бы спокойно стало. И тут я всю зиму прожила, не трогали меня. До Пасхи. Да и лето все жила. Церковь у нас стоит — не служит, отец Константин в своем флигеле живет. Тут уж я совсем успокоилась, работала. Думаю, видно, не будут меня забирать, оставили. А в августе, с пятого числа, начали забирать. Много народу по деревням увезли на машинах. А меня в первый-то набор почему-то не взяли. А уж жила я не в сторожке — выгнали меня. Жила я в барской усадьбе, против бывшего барского дома в маленькой избушке. И в этот день я ничего не пила, не ела — не хочу. А вечером самовар согрела, грибов соленых и сухарей.

Да так и оставила и легла спать на печку. Вдруг мне сон снится: идут ко мне с обыском Куринов, Петухов и сотрудник НКВД... И тут у меня в избе что-то упало, и я пробудилась.

Слезла, глянула в окно — идут с фонарем. Я сразу подумала: за мной. Встала, три поклона положила — у меня большая икона Георгия Победоносца... И сразу вся озябла. Стучаются у меня, у калитки. Я вышла: «Кто?» И говорит мне председатель — «Шура, открой». Идут трое — Куриной, Петухов и аккурат этот, что мне приснился... Подает Куринов мне бумажку. Я посмотрела: обыск и арест.

И стали одеваться. «Ты куда?» — говорят. «А куда сказано..» — «У тебя Библия есть?» — «Вот у меня все книги на столе, больше нигде нет». Библия лежит на столе, а первого листа нету, не видать, что Библия. А они понимают в Библии, как свинья в счетоводстве.

Поглядели: «Значит, нету. Подпишись: обыск сделали, ничего не нашлось». Орудии никакой не нашли у меня. Говорю: «Может, чаю по чашке выпьете, такую дорогу прошли?»

Куринов говорит: «Неудобно». А я: «Вы пять километров прошли. У меня самовар кипяченый, сейчас лучину опушу, он тут согреется». Куринов повторяет: «Неудобно, Шура, нам». А я огня опустила в самовар, налила им по стакану. «Ничего неудобного нет, вы такую дорогу прошли».

Они попили. «Я, — говорю, — готова». Рубашку в корзиночку положила «Ну, пошли, — говорю. — Только не пойдем той дорогой, там далеко идти — пять километров. Пойдем, — говорю, — лесом. Здесь три километра лесом». А Куринов говорит: «Ты нас, как Сусанин, не заведешь?» — «Я не вредная, как вы думаете обо мне». Ну и пошли мы. (Сам-то Куринов тоже потом не уцелел. Его потом арестовали и замучили. Мне потом, как освободилась, Удалов рассказывал — он с ним работал. «Это, — говорит, — перегибщик был. Лишка он перегибал. Вот его и арестовали, да там и замучили». Так что и он не уберется. А жену его выселили, она от нас уехала) Ладно-хорошо. Привели они меня в Матюшкино, в контору, в деревню. Целая контора битком набита. Народу навожено все. А женщины только две: я да Харитина Ивановна — председатель церковный. «Ну, — говорю ей, — сейчас нас повезут, белый свет нам покажут бесплатно». — «Ладно, Шура, как-нибудь...» Нагрузили нас на три машины трехтонки, все целые нагрузили, целиком. Привезли в Пошехонье нас, ночевали три ночи. Тут-то я шла, как на гулянье, не ревела нисколько, а в Пошехонье двое суток все ревела. Набита была целая тюрьма.

Потом нас «С вещами выходите!» — по фамилиям нас, в Рыбинск повезли. Рыбинская тюрьма нас не приняла, некуда было. Перегрузили нас на поезд, повезли в Ярославль. На главный этот вокзал, на Всполье. Тут высадили всех. И этап наш был двести тридцать с лишним человек — это только из нашего места. Погнали нас по городу пешком на Московский вокзал.

А это у нас запели: «К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей? Аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач и воздыхание мое примет? Надежда христиан и прибежище нам, грешным...» Нам кричат. «Не пойте! Стрелять будем!» «Услыши стенание мое! И приклони ухо к молению моему! Буди мне Мати и покровительнице! Вручаю себя милостивому покрову Твоему!» Все равно поем — не отстали...

«Владычице, Мати Бога моего! Не презри требующие Твоя помощи! И не отрини мене, грешного!» Нам кидают ярославцы — булки, крендели к нам летят...

«Вразуми и научи мя, Царице Небесная! Ты мне Мати и надежда! Ты упование и прибежище! Покров, заступление и помощь!» Поднимать нам не дают, нагибаться нельзя — бьют прикладами...

«Радуйся, благодатная! Радуйся, обрадованная! Радуйся, преблагословенная, Господь с тобою!» Все спели — до конца. Когда забрали, все стали набожные. Даже урки...

Пригнали на Московский вокзал. С вокзала погнали в тюрьму Коровники, там мы были трое суток... Сидела там с нами Груша. Красавица была, лет тридцать пять. Только в глазах у нее — темная вода. Так вот она многим предсказывала... У нас десятница была, староста камеры. Она ей предсказала, что через три дня освободится. Многим предсказывала. А мне сказала: «Не просись на работу и не отказывайся. Куда будут посылать, туда и иди. Тебе, — говорит, — хорошо будет»

А я: «Крестик потеряла, боюсь без крестика».

Она вынимает из обшлага крестик, надевает на меня: «Не потеряешь, пока сидишь, в нем и домой пойдешь». А с нас снимали кресты-то на этапе. Кто как прятал — кто в чулки, кто в обшлага. А у меня этот сохранился, и домой в нем пришла, и дома еще не один год носила. Простой медный крестик. А в лагере уже не снимали, кто с этапа принес. Вот помню, ко мне подходит стрелок-хохол: «Ето што в тэбэ высыт?» — «Крест». — «Скынь да брос». — «Нет, не скину и не брошу». — «На што ты яго одэла?» — «А я его не надевала. Сколько помню, он все на мне. Кто надел, тот и снимет»... Ладнохорошо... Сидим в Коровниках. Вызывают на третьи сутки человек по сто в контору. И вычитывают статью тебе и срок. Так и вызывают — сотню, кому по десять, кому по пятнадцать... Мне дали восемь. Нас таких семьдесят шесть человек вызвали. И прямо в вагоны телячьи, называется этот поезд «Максим Горький». Тихо он идет, вот его и называют «Максим Горький». И повезли нас. От Ярославля до Вологды целую неделю. Ночь везут, а день стоим в стороне. От Вологды повезли в Архангельск. Тоже целую неделю везли в аккурат. В Архангельске привезли нас в баню сразу всех, вшей побить надо. Там нам белье дали чистое, конечно, мужское — кальсоны, рубашки.

Мы и то радехоньки, потому что чистые — безо вшей. Это все в архангельской тюрьме пересыльной. Через трое суток нас на реку Двину. На берегу всех на коленки поставили.

Холодно, а многие только что забраны — одна сорочка да платье. Тут многие простудились. Я почему-то не простудилась. Два часа на коленях все стояли — пароход нагружали большой, это чтобы стрелкам было видно, что все стоят на коленях, никто не убежал. И повезли нас в Пинегу — нас на баржах с окошками, а мужиков — в темных баржах. А простуженные стали тут помирать по дороге, мужики все больше. Так в Двину их и кидали. А мне хотелось заболеть да помереть, а так ничего и не сделалось. От Пинеги погнали нас двадцать километров лесом в Красный Бор. Там согнали в сарай — карантин отбывать. Сарай большой, не мшеный, две печки железные маленькие. Пять человек у каждой печки греется, остальные дрожат. А другой сарай для мужчин. А воды не дают. А мы консервными банками запаслись — кто в Архангельске, кто в Пинеге, да за пазухи их попрятали. Набьешь снегом банку, поставишь ее на печку, он и тает, вот и попьешь водицы. Без воды хуже, чем без хлеба... Ладно-хорошо... Пока в карантине сидели, нас человек пять верующих

набралось. Мы по вечерам всю ночь пели. А урки-девки сидят и слушают. А потом говорят: «Хоть бы нас научили петь „очи“». (Это они так «Отче наш» называют.) Мы их научили, и они с нами пели. Тут уже и на работу стали нас помаленьку таскать — бараки мыть. И там я с отцом диаконом познакомилась, он в мужском сарае карантин отбывал. Раз прибегают он ко мне: «Пошли, пошли, там архиерея привезли!» — «Откуда архиерей, не знаешь ли?» — «Из Архангельска». Мы подходим. А вохра-то над Владыкой издеваются — кто ткнет, кто пнет. А подрясничек на нем тоненький. За бороду дергают. И насмеваются: «Сейчас мы митру на тебя наденем!» Пнули его — он упал и сказал только:

«Прими, Господи, мою душу». — «Примет, — говорят, — как же, примет!» Насмеются.

Эфиопское воинство. Так от побоев и помер Владыка, царствие ему небесное.

Замучили.

Издевались, как над Христом. Человек десять их было... Да... А тут и карантин наш кончился. И стали вызывать по одной к начальнику. Пришла моя очередь.

Начальник спрашивает: «Как фамилия?» — «Такая-то...» Он глядит в формуляр, потом на меня: «Откуда же ты?» — «Из всех мест». — «А уроженка?» — «Вологодской области, Вологодского была району».

Он говорит: «Так, так, деревня Кожине... А ты Андрюше-то не родня?» — «Какому Андрюше? У меня брат Андрюша! Так и он сидит?!» — «Нет, он не сидит. Мы с ним вместе учились четыре года. Да, бывало, на одной койке спали». — «А твоя-то как фамилия?» — «Хрусталева». Я поглядела, у него глаза-то один больше другого. Он у нас, помню, гостил... «Ванюша, — говорю, — ты?!» (Это начальнику-то.) — «Я, — говорит. — Так за что же, — говорит, — тебя посадили?» — «Жить не умею, — говорю, — хулиганю да ворую. У тебя вот все мои бумаги». — «Да, — говорит, — на какую же мне тебя работу поставить? А сколько срок имеешь?» — «Да, — говорю, — пустяки — восемь лет». А он: «Погоди, большой срок не устрашает, маленький не утешает. Не думай, что столько отсидишь... Так куда же тебя направить?» — «Не знаю, — говорю, — я хоть и второй раз, но в лагерях не была, я в тюрьме сидела». — «Я тебя, — говорит, — назначу в ВОХРУ кухаркой. Наверное, приготовить сумеешь»... Ладно-хорошо...

Только в ВОХРУ меня урки не пустили, десятница в бараке: «Я туда тебя не пушу, своих девушек пошлю». А ихних «девушек» нигде не держали, как ответственная работа, так 58-я статья идет туда работать. А тут приходит завхоз, говорит «Мне три прачки нужны в больницу, в Кулой».

Это лагпункт был, километров восемь. Вот и пошли мы — я, моя Харитина и Марья одна — тоже набожная. Приходим туда — сарай. Навстречу выходит вольный фельдшер — лекпом.

«Вот, — говорит, — мне в столовую повар, санитар и прачка». Всех троих взяли.

Пришли мы вечером, поглядели на эту слабосилку — ужас нас взял. Все — поноски, лежат на сене, а оно уже как навоз. Которые и без кальсон лежат, да холодно, да мокрое-то все эдакое.

Утром я приняла кухню, шесть ушатов котел висит на бревне. «Давайте, — говорю, — греть его да обиходим их, пока продуктов нам не привезли». Стали их обихаживать. Сначала всех в одну кучу. Харитина говорит: «Не будем, они запачканные». Я говорю: «Сегодня они такие, а завтра, может, ты такая будешь. Давайте, — говорю им, — в одну кучу, кто может — переползайте».

Кто не может — тащим. Ихний навоз вытаскали, доски ихние кипятком все ошпарили.

Сарай открыли, чтобы проветрило. Их вымыли всех, поносников. Сено чистое настлали и положили их. С них все выполоскали, конечное дело, развесили. День хороший выдался, много высохло на ихнее счастье. Знакомые тут мои лежали, из одного места, из Лесина — Куликов Иван Петрович, Кошкин Иван Иванович, Введенский Константин Васильевич — священника сын, учитель. «Ну, — говорю, — я кухарка ваша». — «Ой, — Кошкин посмотрел на меня, — Шура, это ты?» — «Я». — «Слава тебе Господи. Теперь мы оживем». Я получила крупу, сварила им каши густой. Всем разнесла по кружке каши. Потом плохо стало с Кошкиным к вечеру.

«Поверни, — говорит, — меня». Я повернула. «Плохо, матушка...» Только с полчаса еще пожил... На другой день рису получила, отвар им наварила, стали поправляться поносники. Но семнадцать — двадцать человек помирает каждую ночь. Сначала хоронили — сколачивали из четырех досок гробишко. Какой-никакой. А потом стали хоронить без гробов. А отец диакон тут у нас тоже санитаром пристроился, вот мы с ним всех их отпевали. Тихонечко, конечное дело...

Мы с ним друг дружке слово дали — я вперед помру, чтоб он меня отпел, а он — чтоб я его отпела. Но не который не умер. А покойницей тут никакой не было. Были ворота большие подвешены так на метр от земли, на них клала Это чтобы крысы их не объедали. И то они объедали носы да уши — лица уж не узнать. Сколько там крыс этих было! Ночью спим, только лица закрываем, а они по нас так и прыгают. Утром встанешь, они к реке, к Кулою бегут.

Метров сто — одна крыса. Или в каптерку идешь... Пока свет не зажжешь, ноги не поднимай, так по полу двигай, чтобы не наступить. Наступишь — заверещит она, и все на тебя кинутся — загрызут. Это меня начальник предупредил. А свет зажжешь, они разбегаются. Так и работала я больничной кухаркой. А кухни так и не было — на бревне котел висит, и на этом же бревне общей кухни котел. А тут собрали эки собрание и стали кричать: «Пусть хоть раза три нам сварит больничная кухарка! Нам варят больно плохо!» Начальник разрешил. (Это уже не Хрусталева был, а Рыжиков.) Вызывает меня: «Вот завтра и послезавтра сваришь общий котел».

— «На сколько человек?» — «На шестьсот». — «Какой котел?» — «Шесть ушатов». — «Сколько продуктов?» — «Столько-то»... Я все подсчитала и на пять ведер жидкости убавила.

Оно и погуще стало. Мясо, конечно, не проиграла в карты, все положила Картошки.

Луку вяленого. Свеклы. Крупы. Можно сказать, что превосходная баланда И при раздаче я была, когда разливали. Всем понравилось это. Поварам только не понравилось. Три повара там были.

Один повар ученый был, учился на повара. Неделю я им варила — продукты получала.

Потом меня поставили следить. Получала продукты, валила их в котел и при раздаче присутствовала. И так я была у них с января до мая... А тут приезжает к нам парень на лошади, говорит «Собирайся в больницу, в Красный Бор». Собралась я, поехала. Главный врач мне говорит «Принимай прачечную. Больничную». Накормили хорошо, постельные принадлежности выдали — одеяло мягкое, теплое, две простыни, наволочку — стружкой набивали. И комнату мне сразу дали отдельную... Корпуса там хорошие были. А я при складе. Койка, тумбочка, стол.

Работаю я в прачечной. Вызывают к главному врачу: «Принимай анатомию, инструменты». Приняла я инструменты. Потом говорят, горючее сильно тратится. Надо записать да выдавать по норме...

Опять я. И так целых шесть должностей у меня стало. И покойников мне поручили.

Днем два могильщика ямы роют. Ну, там-то я не бывала, где они роют. А ночью из покойницей вытаскиваем их. Накинут им перевку на ноги, хватают за руки да за веревку и кладут поперек саней — широкие такие дровни. Да еще и накрыть надо, там лагерем везти, чтобы не видели, чего везут. Матрасом я их распоротым накрою, и повезут их. Там зароят, конечное дело.

Каждую ночь... Да... А я тут своих вытащила — Харитину Ивановну на раздачу пищи, Мария Григорьевна — портниха. Да были у нас еще два старичка бухгалтера — Иван Михалыч и другой тоже Иван Михалыч. В моей комнате соберемся, всенощную поем. Иван Михалыч деревянный крест нам сделал, шестопсалмие я наизусть читала, канон споем. Хорошо я там жила. Только все Господа молила, чтобы мне не научиться курить да ругаться. И — слава Богу — не научилась. Только трудно мне с учетом было, я каждые три дня сама себе ревизию устраивала. Грамота-то у меня какая — полторы зимы. Белья у меня триста пар в ходу, да четыре отделения одеты. А врачи там были все евреи, и до чего же люди хорошие, просто превосходные. Севрук — два Севрука, отец с сыном, Шик, Березовский... Они заключенных жалели. Александр Антонович Севрук — хирург был хороший, он себе в штат набрал 58-ю статью. «Я, — говорит, — штат себе набрал — во! Ни одной урки! Все тихие, не будет мату в моем отделении». А доктор Шик говорит: «У меня пускай и мат, я отважу. У меня — не будут!» Ругачка он был, а уж какой хороший. Простой. Вот прибежит ко мне: «Дура ты! Лагерный придурок!» А я ему: «А почто мне ум-то? Таскать-то его? Тяжесть-то такую?» — «Тьпфу!» — только плюнет и убежит. Горячий.

И вот Александр Антонович Севрук мне говорит: «Чего ты не напишешь жалобы и заявления об освобождении? Все пишут, одна ты не пишешь». — «А я и не знаю, чего и писать». — «А ты напиши, как есть. Чем проще — тем лучше. А я тебе хорошую характеристику дам». И адрес он указал мне в Москву. Я и написала, он мне характеристику дал и адрес сам подписал. У нас все один заключенный писал для всех, по сорок рублей за бумагу брал, чтобы написать. А я сама написала, уж как сумела. Ладно-хорошо... Три месяца шла разборка, ходило, видно, взад и вперед. И пришло мне оттуда — освободить меня.

Утром я встала, вызывают меня в контору. Я так и обалдела. Зачем требуют? По складу у меня все хорошо, и так все в порядке. Зачем требуют? Я прихожу в контору, сидит Калашников — начальник. «Ну, Саня, пляши!» — «Сказывайте, чего я требуюсь, скорее!» — «Помоему, надо плясать тебе». Не сказывает еще, морит меня. Потом говорит: «Ты освободилась». А я как не бывала на ногах, со мной обморок сделался. Ну, помогли мне тут. Говорят «Иди, сдавай дела».

Как у тебя там?» А у меня все хорошо — ни прибытку, ни убытку. Пошла получать продукты на дорогу да деньги. Два кило селедки дали, хлеба полторы буханки, сахару двести грамм — на дорогу все дали. И в котором часу меня взяли, так в этом часу и освободили.

Минута в минуту — три года. И отправилась я в Вологду, к родне своей, у которых тогда скрывалась. У них три ночи ночевала, а потом кое-как добралась до Водоги, это Пошехонский район, где мой первый приход был. Там на квартире поселилась да одну зиму жила — не служила. Варезки, носки на войну вязала — сорок первый был год. Одежда стегала, шила — машина швейная моя уцелела, только поломали ее без меня. У меня и зимой хлеб рос. За пару носок — буханка хлеба, за одеяло — фунтов тридцать ржи. Пришла на Казанскую, в октябре, а к Пасхе уж у меня три пуда муки было. Потом служить стала у Спаса на Водоге. Там и сейчас служба — она не нарушалась, та церковь. У Спаса мало платили, совсем там доходу не было. Вот отпевание — принесут с покойником каравашек с килограмм, подаст его староста батюшке и мне... Или на дом пойдем отпевать. Там для нас с батюшкой чистый испекут каравашек, а тем, кто поминать придет, — уж с мякиной, льняной, да еще с чем, с клеверной мякиной. Ужасное время было, прямо ужасное. А служил у Спаса отец Георгий

Рженицын — хороший батюшка, очень хороший. Года три я с ним сначала прослужила, только ходить было далеко — семь километров. Устроилась я в школу техничкой. И квартиру мне дали там, в школе. А потом я купила свой дом в деревне Михееве.

Небольшой домик, крыша плохая была. Я его на швейную машину выменяла — так восемь годов я прожила в своем доме. И каждый год на меня три гектара накладывали обрабатывать, как на лишенку. Голоса я не имела. Или льну дергать, или жать... А отец Георгий пошел в гости в Дмитриевское, у кого-то там был праздник. Ну, поговорили они, а там был шпион... Наутро всех пять их забрали. Уж чего они там говорили — не знаю... И тут пришел к нам отец Асинкрит — отца Георгия отец. Он недалеко во Владычине служил, пока церковь там не сгорела.

Загорелась она от молнии в Великий Четверг. Аккурат отец Асинкрит двенадцать Евангелий читал. И пока он службу не кончил, из церкви не вышел. Отца Георгия увезли, а отец Асинкрит пришел через неделю. Почти девяносто годов ему было, служил он до девяносто трех — это самостоятельно... Уж и отец Георгий вернулся к нам из заключения. Года только три он сидел, сактировали его по болезни. Так-то бы они его еще подержали. Пришел он — совсем плохой.

Тут мы давай его лечить. Молоко ему бабы носят. А он в среду и в пятницу — не пьет. Бабы скандалят: «Вам врачи велели молоко пить!» А он: «Врачи-то мне велели, а вот Бог мне не являлся, не приказывал в постные дни молочное есть. Так что отстаньте от меня».

Он насчет этого строгий был... И вот стали оба они служить — отец с сыном. Уж потом-то отец Асинкрит только ему помогал, служил, когда хотел приобщиться. Очень петь любил «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...». Голосок уж стал тоненький, я под руки его водила.

Видеть он — хорошо видел, без очков, а ходил плохо. Вот поведу его к дому. «Ну, — говорю, — скок через порог!» — «Сейчас вскочу, сейчас вскочу». Придет, разденем его, и он сейчас на печку полезет.

«Ты самовар заводи, а я пока тут на печке». А чай любил с молоком. И отец Георгий тут же жил, в том же доме. Овдовел он рано, лет тридцати, — и все жил один. Две дочки у него были, обе замужем. Аккуратный он был, очень аккуратный. Мне он был одногодок. Вот прихожу к нему.

«Что долго не была?» — «Как долго не была?» Я только две ночи дома ночевала. «А у меня новоселье». — «Что за новоселье?» — «А вот на стену посмотри. (Это он перевесил портрет патриарха.) Надо новоселье справить, иди в магазин». — «Чего покупать?» — «Купи пол-литра да селедки купи». — «А сколько?» — «Сколько купишь, там сама гляди. Да и вякалам (это певчим-то) скажи: приходите, вечером у отца Георгия новоселье». Ну, все придут — часов до одиннадцати посидим, попоем. В одиннадцать часов: «Ну, хватит, пора спать. Отправляйтесь».

Он петь любил, регент был хороший... Ладно-хорошо... А в пятьдесят втором году пришел к нам из заключения Александр Павлович. Был он раньше священник обновленец. Служил за Пошехоньем, и там сгорел у них сельсовет, тут его обвинили, посадили. А жена у него и дочка Аня пропали — так и не знает куда. А отец Асинкрит был у нас очень жалостливый, принял Александра Павловича, так он с ним и стал жить, хоть и тесновато было.

Священником он уж больше не хотел быть. Ему предлагали покаяться из обновленцев, но он не стал. А устав хорошо знал, псаломщик был превосходный, И ко мне часто приходил, все об дочке грустил, об Аняте.

Но он, конечное дело, тронутый был уже. Спал только на полу, на мешке с соломой.

Раз захожу к ним, гляжу, газетой накрылся, а сам святцы читает и плачет... Ладно-хорошо... А тут телеграмма мне и отцу Асинкриту, вызывают меня в епархию. Это, уж, наверное, год пятьдесят шестой был.

А как ехать? Мимо нас тогда лен возили в Карамышево, там завод, принимали. С ними я и доехала. А там на Кукобой шла пешком, тут деревнями недалеко. А было это в декабре — перед Варварой и перед Nikolay. А от Кукобая уже на поезде... Приезжаю в епархию, отец Николай Понтийский, секретарь архиерейский, хороший. И тут нас, псаломщиков, у него шесть человек.

Феодора, Люба, Параскева какая-то была, не знаю, откуда она, два мужчины — у одного рука плохая, а другой из сторожей. «Я, — говорит, — уж шесть годов служу сторожем, так уж маленько маракую». А Феодора всех нас насмешила. «Я, — говорит, — старостой работаю и псаломщиком. Две должности несую, да и ответственные»... Выходит к нам сам епископ Исая, всех благословил, все тут подошли под благословение. Усадили нас и стали спрашивать, кто что знает. Все молчат, как воды в рот набрали. Сначала Феодору спросили. «Я, — говорит, — две ответственные должности несую — старостой и псаломщиком». — «Ну так спой чегонибудь». — «Пою, пою...» — «Ну, спой». Спела она «Достойно»... Ладно-хорошо. Любу спросили — она наша монашина — она говорит «Устав я хорошо знаю, а петь я не пою. Хотя по крайности все спою». (Конечно, гласов она не знала.) — «А „Хвалите имя Господне“ умеешь петь?» Она как захрипит: «Хва-а-ли-те и-им-я Го-от-по-дне...» — «Ну, ладно, — говорят, — хватит, хватит.

Можешь, можешь», — оставили ее. А дядьки ни который ничего не спели. А Параскева эта чего-то пела. А последнюю меня спрашивали: «Шестой глас умеешь петь?» Я запела. Потом восьмой спросили — «Господь воззвах...» — «Третий глас?» Я опять: «Господь воз-звах...» И так все вразбивку, не подряд спрашивали. Потом прокимны спросили. Первого и пятого гласа, потом четвертого, и я все спела. Понтийский сказал, отец Николай: «Эта вообще может псаломщиком работать». Владыка всех нас вместе благословил эдак и ушел. Потом выходит, выносит шаль шерстяную, тонкую, завернута в бумаге. И подает мне. До сих пор у меня целая. А Любе благодарность, что устав знает. Тогда ведь псаломщиков вообще не было. А у нас на Водоге целых два оказалось — Александр Павлович и я. А тут мы узнали, что еще есть место в Дмитриевском, за Пошехоньем. Александр Павлович туда идти боялся. «Опять, — говорит, — они меня заберут». А до войны он служил там, в тех местах. Думала, думала я и решила ему место уступить. А тут слег у нас отец Асинкрит. Еще за неделю до болезни говорит: «Я хочу приобщиться. Буду служить». И служил обедню. Причастился, выходит ко мне: «Я хочу, чтобы ты сейчас спела „О тебе радуется, Благодатная...“ И я с вами буду петь». — «О тебе радуется...» — поет голосок тоненький, а слезы так и капают. А через неделю он слег. Три месяца не вставал, как щепочка исхудал. А тут прихожу, он лежит, словно поет что-то. Я подхожу:

«Батюшка, что это вы будто кого отпеваете?» — «Это я себя отпеваю. Пора уж меня отпевать». — «Да полно, батюшка, вы еще поживете». — «Нет, нет, надо уже меня отпевать». После этого соборовали его. А за неделю до смерти он вдруг вина попросил. А так-то в рот не брал, не пил. Принесли ему кагору хорошего. «Ну, — говорит, — сейчас пьянствовать буду». Глотка два сделал и говорит: «Уберите. А то приучишься, так беда». А помирал тихо, спокойно. Будто уснул. И умер он у нас на четвертый день Крещения, в январе — девяносто шести годов. Отпевали его два Георгия — сын да из Дмитриевского пришел отец Георгий Киселев. А народу на похоронах было — в церковь войти не могли, а церковь там большая. И всех поили, кормили, в трех домах готовили. Два мешка только белой муки ушло. Это сам отец Асинкрит нам сказал, кто будет на похоронах — всех поить и кормить. Отпели мы его, похоронили и сели поминать в церковном доме. И тут отец Киселев стал меня в Дмитриевское звать. Я ему ничего не обещала, сказала только, что побываю. Он говорит: «Хорошо. Только не задаливай». И мне так грустно етало, что с Водоги уходить надо, что место я уступаю. «Теперь все, — говорю, — отпела». И тут приснился мне сон. Приходит моя

тетка покойная. Тяти сестра и монастырская наша монахиня — матушка Анатолия, письмоводительница. «Что ты расстраиваешься? — говорят — Ты не отпела еще. Еще попоешь, да и как. Пойдем, мы тебя поведем». И вот повели.

Завели сначала в Дмитриевское в церковь. «Тут, — говорят, — тебе еще не конец». Потом привели в слизневскую церковь. «И тут — не конец...» Опять дальше повели и привели меня сюда, в летнюю церковь, поставили на клирос. «Вот, — говорят, — здесь тебе конец» Я ведь и не видала тогда этих церквей, потом только, как приходила — узнавала... Ладно-хорошо... И вот Великим Постом пошла я в Дмитриевское. Пришла прямо к отцу Георгию, ночевала у них. Матушка у него очень хорошая, двое детей — Сережа и Леня. Они с матушкой еще молодые были — по тридцать три года им. Церковь там большая, каменная, очень хорошая церковь. Летний алтарь — Святых Жен Мироносиц, а в зимней два придела — Великомученика Димитрия и Параскевы Пятницы...

Смотрю, узнаю — но еще не здесь мой конец. Мне там понравилось. Певчие там хорошие — из Пошехонья некоторые приходили, пели две учительницы старые. Вот я и согласилась у них служить. Проводил меня на лошади сам отец Георгий Рженицын. А дом-то в Михееве я еще раньше продала, больно плох стал — потолок совсем опустился. Продала я его в школу за двести пятьдесят рублей и жила опять на квартире. И вот перебралась я в Дмитриевское.

Служил там отец Георгий Киселев хорошо, только на него иногда что-то находило, он как сам не свой делался. Вот на обедне поем ему «Достойно». Он вдруг из Алтаря говорит:

«Еще раз спойте, мне не понравилось». Мы еще споем. «Еще! — опять не понравилось». Я ему после службы говорю: «Батюшка, ведь нехорошо, это — обедня...» — «Не учи меня, я — поп!» Или вдруг за обедней в облачении выбежит из Алтаря да кочергой в печке шурует. Но меня не обижал, грех жаловаться. И прослужила я с ним год восемь месяцев. И тут он у нас уехал, и стала наша церковь без службы. И вот нам говорят, за Белым Селом приехал к сыну какой-то священник без места. Мы за ним лошадь отправили, за десять километров, у Егория Плохого, сын у него там жил. И вот привозят батюшку — да огромный, да страшный, да мордастый — рождество-то шире масленицы да красное. Да пьянехонек весь... Зовут Евдоким. Да и привезли не к старосте, а ко мне в сторожку. Входит. «Ой, я отсель никуда не пойду, я замерз».

Посадили его, я дала ему шубу. «Это меня не греет» — «У нас больше никакого тепла нет, кроме этого». — «Нет, так найди. Магазин-то здесь есть?» Купили ему. Он тут — хоп-хопхоп — всю поллитровку выжрал, прости Господи. Улегся на моей кровати. Пошла я к старосте:

«Куда хотите девайте». — «Погоди, Николаевна, он протрезвится». А дом-то священников порожний стоит, никто в нем не живет. Утром встал. Собрали собрание. А как подрясник у него, не знаю, на что и похож. А у меня в сторожке висела картина «Страшный суд» — мертвых воскрешение, муки грешников. Он глядит на картину. «Это, — говорит, — надо ликвидировать. Тут все наврано». А я и говорю: «Если наврано, так нам и вас не надо. Мы боимся и трепещем этого». — «А ты что больно дерзко?» — «Потому что вы дерзко. Мы трепещем страшного Дне Суднаго».

— «Никакого, — говорит, — такого дня не будет». — «Раз не будет, — говорю, — пошто нам и тебя?» — «Я, — говорит, — думал, ты хорошая, а ты, оказывается, никудышняя». Ну, выстирали ему тут подрясник, да еще и выкрасили. В епархию к Владыке ехать. Денег ему дали, отправили его в епархию. Говорит: «На Ильин день приеду обязательно». Ильин день подошел — нет.

Неделя прошла, другая — нет. Тут послали меня в епархию. «Ну, — Понтийский говорит, — зачем пришла, курносая?» — «Как, — говорю, — зачем? У нас батюшка пропал». — «Как, — говорит, — пропал?» — «Скоро месяц, все нет». — «Куда же он девался? — уж он все знает.

— Эдакой большой не мог провалиться. Ну, рассказывай, чего там у вас было?» Рассказала. Он достает мне вот такую хартию, митрополит Питирим из Минска про него прислал.

Чего там только не написано!.. «Так какой же, — говорю, — он батюшка?» А отец Николай смеется: «Ну и счастливая ты на батюшек. То Киселев, да теперь этот. Ничего, — говорит, — все перемелется, мука будет». А он, Евдоким, из шести церквей ушел, самовольно, ни одну не сдал.

И все вот такто пил. Так и пропал он, ничего о нем больше не слышать. Да... Церковь у нас в Дмитриевском не служит, и опять я без места А тут мне пришло письмо из Слизнева от отца Платона.

Одна наша певчая, Александра Васильевна, она десять лет тоже в тюрьме сидела, священника была жена, — она и к нам, и к ним в Слизнево ходила молиться. Вот она отцу Платону и сказала, что я без места И пошли мы с ней в Слизнево на Преображение. Там тоже церковь хорошая, была я в ней, гляжу, во сне-то. Но только это еще тоже — не мой конец. Поступила я к ним.

Квартиру мне в сторожке дали. Отец Платон служил хорошо. Он раньше псаломщиком восемь годов был, а женился на протоиереевой дочке — отца Романа — Зинаиде Романовне. Они из Минска приехали. Матушка у него была очень хорошая, а уж теща Софья Михайловна — просто превосходный человек. Первое-то время мы с ним хорошо служили. По грибы да ягоды ходили.

А там белые только в двух местах растут. И он эти места знал. И вот я утром пораньше встану, побегу, оберу их. И лесом иду домой, а он уж после меня туда же дорогой идет. Он лесом не знал. А я-то лесовая бабушка Приду домой, чищу их. Он прибежит: «Опять все обрала?» Вот соберемся вместе по ягоды. Он нарядится в голубую трикотажную рубашку под поясок. А я уж — как баба-яга... Поглядит на меня: «Не пойду с тобой!» А я: «Так и я с тобой не пойду. Ты куда это вырядился?» Слава Тебе Господи, иду одна. Нет, догоняет. «Я так без ягод останусь!» А потом мы стали с матушкой Зинаидой ходить. Так два года мы с ним хорошо жили. А через два года он стал почему-то плохо ко мне относиться. Как чего не сделаю, все — неладно. Минею на клиросе придет исчеркает. Нехорошо у нас стало. Тут он и народу объявил, что псаломщик ему не подчиняется. Хотел он тут в Шестихино переехать, да его там не приняли. Даже квартиру не отперли, не показали. И в церковь не пустили. Ну, как говорится, не наше дело попов судить, на то черти есть — они рассудят. А мне тогда и говорят, что тут место есть, батюшка отец Иван просит прийти... Ну, отправилась я пешком на второй день Благовещения. Зашла к батюшке, он самовар разогревал. Только и спросил: «Гласы знаешь?» — «Знаю». — «Ну, запой». — «Который?» — «Да хоть какой-нибудь». Я ему запела. Вот и все. Повел меня на квартиру к Дуне, покойнице, сторожу церковному. Прихожу в церковь. Как глянула — потолок голубой, в окне поле видно — вот он, тут мой конец. Последнее мое место. Точно, как во сне... Потом я у старосты жила, у Александры Родионовны, тоже покойница И потрудились я тут — церковь сторожила, печки топила, просфоры пекла, ремонты мы с Родионовной делали. Так у храма все и живу. Мне и в детстве все хотелось у церкви жить. Бывало, говорю: «Тятя, с Николы в церкви сторожа поряжать будут. Порядись. Вот Александр-то Широгоров там живет». — «Дура, — скажет, — у него одна корова, а у нас четыре коровы. Да куда мы с таким-то хозяйством?» — «Все, — говорю, — продадим. Больно мне у церкви жить хочется». А «Соломой» это меня ребяташки прозвали. Не могут сказать «псаломщица», не понимают, что такое. Вот и вышло у них — «баба-солома». А только подумать, сколько я мытарств прошла — и тюрьму, и все, не знаю, как и прошла. Помаленьку-то и прошла... Я ведь и в лагере на них не обижалась, что вины у меня нет. Вины нет, так грехи есть — за них страдаешь. А в тюрьме я все придурком была, и мной не распоряжались. Хотя работы у меня было много. А по мне хоть и сейчас пусть опять заберут, я не боюсь. Только вот жить-то мне осталось полтора понедельника. На похороны у меня есть деньги. В церковь на помин — сто шестьдесят рублей. Сто рублей — батюшке,

какой меня отпевать будет. Гроб мне надо некрашенный. Музыка мне — упаси Бог! — ихней не надо...

Пьяницы эти марш играют, а бесы пляшут, радуются. Тпфу! И ограды мне на могилу не надо, надо только крест деревянный. Лишь бы отпели, а там хоть в болото пусть кладут... Я никому не завидую. Мне еще отец Асинкрит, Царствие ему небесное, говорил: «Бог тебе богатство дал.

Господь тебе знание дал, разумение и голос. И должна ты благодарить Господа». Я и вправду богаче всех. Кусок хлеба у меня до смерти, и одежды — не сносить. Еще после моей смерти жечь придется. А что старые платья, наплевать. Все проехало уж теперь. Не Абрам и смотрит, не Макар любит, не Захар интересуется. Мне теперь какие женихи? Надо ждать жениха Лопатина, Могилевской губернии из села Гробовщиков. Этот — всех берет. Так что богатства у меня — через борта. Плохо только, покаяния настоящего нет. Как бы надо идти к покаянию, не так, как мы, грешные, каемся. Такого покаяния нет. А службу я без ума люблю.

Горинское, октябрь — декабрь 1980 г.

НАША ШУРА

В сорок первом году, в октябре шла я из заключения на Вологду, в Пошехонский район.

Женька у меня еще грудной был, а Колю своего я три года не видела — с самого ареста.

Прихожу в Кузьминское, и вот идет мой Коля мне навстречу по деревне — шубейка маленькая, обтрепанная, идет и поет во всю головушку:

Милая моя, на кого похожа, — ух!

У тя куричьи глаза, петушечья рожа, — ух!

Хорошо тебе, товарищ, тебя matka родила, — ух!

А меня — чужая тетка, matka в лагере сгнила, — ух!

Ему кричат: «Коля! Мать идет!» А он: «Какая мать? Мама-то, я знаю, какая была. Мама была в белом платье и бегала люто. Как вон теленок. Никому ее было не догнать.

Как за хвост теленка схватит, так он и падает». (Это еще до ареста было. Теленок у нас все сосал корову. А я его догнала, как за хвост дерну, он и повалится. Вот это ему и далось, это он и запомнил. Все говорил: «Мама бегала люто»). А как меня арестовали, он у меня посреди полу остался.

Трехгодовалый. И целый год не знала, где он и есть. Я из заключения все писала, да мне никто не ответил. А мне тут посоветовали: «Напиши в районную милицию». Через две недели мне и пришло: его батька взял. Уж он вторично тогда женился, так и жил в Телепшине... Я ведь сама-то как замуж вышла. Меня там все в сельсовет таскали и говорят «Выходи замуж, да и будешь жить. Тогда тебя не арестуют. Ты уж будешь тогда не лишенка, не монашина». А жила я на квартире у тетки Феклы, а Иван-то через дорогу, напротив. Он и моложе-то меня

был. Они меня всей семьей ходили уговаривать. Немного мы с ним нажили. Да и не венчались, так что я его и за мужа не считаю... У них семья эдакая — ни одного дня нет, чтобы у них без скандалу. Как Коля у меня народился, так я вскоре и ушла от них. Тут уж я Бога стала молить: «Выведи, Господи, меня из Телепшина. Хоть через тюрьму, а выведи...» Ладно-хорошо... Так что после ареста моего Колю батька с мачехой забрали. А держали они его худо, голодовка была... Колюто в Телепшине знали. Вот он трехгодовалый придет да встанет у магазина Ему и дают. Говорят «Это ведь Шурин паренек». Надают ему денег на буханку. Купят ему буханку. А батька уже стережет: «Пойдем домой!» Хлеб-то у него дома и отберут. Потом это все узнали.

Стали Марии Павловне давать денег, пекарке. И ему сказали: «Ты ходи есть к тете Мане. Она тебя будет кормить». Ему четыре года не было, он от отца пошел в Вологду — за десять километров — к крестной, к Марии, к товарке моей. Его вернули, а потом так и отправили к ней.

Петро Кузьмич его привез зимой — да без валенок. Ноги половиком завернуты. А мои чесанки новые так у них и остались. Не отдала мачеха Они все забрали. У меня ведь остался парнишка — восемь рубах у него было. Они все своих маленьких одевали. Пришел — только шубенка на нем. Я по этой шубе его и узнала. Я ведь шила ее сама Вся уж истрепалась — три года носил. Он у них и на постели не спал. На лавку постелют половик — ложись тут. А в Кузьминском они с Марией, с крестной, жили у председателя Розина. У него низовка была, первый этаж — вот там и жили. И я с Женькой туда пришла. Я пришла, а у Марии моей тоже уж ничего моего нет. И рубашки у меня нет — с дороги надеть. Выпарилась в печке, пришлось кофту с юбкой так надеть. А Мария говорит «Все твое украли». — «Какие воры, — говорю, — интересные были. Все мое украли, а твоего ничего не тронули?» А Коля-то как ни мал был, а помнит. «А вот, — скажет, — это мамин ведь был платок. Теплый-то, новый-то, серый-то». И тут же опять Марии шепнет: «Ты тетке-то не давай». А ее спрашиваю: «А шаль-то моя жива ли?» У меня шаль новая, хорошая, пуховая была Мы с ней обе по шали купили. «Ой, — говорит, — я ведь твою шаль заложила за пуд муки». — «А зачем же ты закладывала? Ведь ты после меня восемнадцать пудов хлеба получила? Я ведь тебе из заключения доверенность посылала». (У меня заработано было. Я в заготскоте косила овес.) А она «Так я твой хлеб по займам раздала». А про шаль врет, это она племянке своей отдала А тут опять Коля: «Крестная, а еще два маминых полотенца у тети Опроси». — «Ой, — говорит, — дурачок. Я ведь тоже заложила За муку». Да... За муку заложила, а парнишку по миру водила А Коля — ему седьмой год — никак меня не признает. Уж я тут и одела его, сшила ему рубашку хорошую, а штанишки, башмаки купила Всю деревню обошел — хвастался обновами. «Да кто же это тебе справил, Коля? Мать?» — «Какая мать?!

Будто не знаете... Тетка эта. Научилась одеяла стегать да вязать, вот и говорит: я — мама». А то пойдет наверх к хозяину нашему, к председателю Розину. «Дядя Розин, как бы эту тетку выгнать? Ведь из-за нее моя мама не придет. Письмо давно пришло, что мама освободилась, а все не идет».

Розин говорит: «Ну, давай, ты придумывай, как ее выжить. А я тебе помогу».

Заревел: «Я придумал». — «Ну, и чего ты придумал?» — «Да свеземте в город этого парнишку, Женьку. Она за ним пойдет, да уж и не придет больше». Да... А я как пришла, так без работы уж не сидела. В Кузьминском-то. Неделю прожила, а война-то, сорок первый год. Всех забирают. А ни у кого ни носков, ни теплых варежек. А председатель сельсовета говорит: «Наша Шура приехала Скорее ее никто не сделает и лучше не сделает. Несите к ней. Она и берет буханку хлеба за пару». Мне и потащили. А у меня как сутки — так пара и вылетела. Коля, бывало, щиплет шерсть.

А я ночью напряду, я прясть быстро. Шестьдесят восемь пар связала в зиму-то. Я уж себе и шерсти заработала Себе валенки скатала и Коле скатала На Пасху нам скатали. И постелей

ведь у нас не было. Мария одно: «Все твое украли». А я бабам говорю: «Принесите мне куделей из гребей».

Они мне двадцать шесть куделей и принесли. Я весь этот лен опряла да две постели и выткала Живем... А тут у них в школе техничка спилась. Ее и посадили — на работу не ходит... Мария у меня ушла гулять с Колей. Он все с ней ходил. А я сижу, вяжу чего-то. Приходят ко мне учительницы две: «Поступай к нам в технички. Посадили Параню, техничку. Два года ей дали.

Она уж который день на работу не выходит». Тогда ведь строго было. «Завтра, — говорят, — приходи принимать». — «Ладно». Я и довольна. Паек мне тут давать будут, карточки. На себя и на ребятишек. Потом на меня одну давали — триста грамм. И жить тут я в школу на квартиру перешла. Я за всякую работу бралась — я ведь с детства не наважена. И домовничала, и в огородах работала. Была у нас там Маша-Гаша. Тоже ходила работала, помогала, как и я. Она в девках деток наносила. С мужиком тут жила. И работу она делала хорошо, только за ней трое деток идет. И она везде садится за стол, и они трое. Скажет: «Садитесь». И деток своих садит.

Так вот ее накорми да их накорми. В такое-то время. Вот и не стали ее брать никуда. А я все одна ходила, пошто я в люди деток поведу? Меня и брали. На Пасху по девять изб я мыла. Тогда и крынка молока больно дорого стоила. Я премоюсь, принесу деткам домой крынку молока, да еще и кусок хлеба. Наедятся. Это большое дело было. Бог нигде не оставляет. Так и живем... А Коля меня все мамой не называет. Целый год. А тут заработала я хорошей пшеничной муки. Уж и не помню за что. И напекла я нам пшеничных пирогов. Сели есть. Я ему отрезала середку пирога. Он попробовал: «Ой, мама, я ведь и не ел такого-то пирога». Первый раз мамой назвал.

Ладно, хорошо... Дожили до лета. А на Иванов день пришла из Телепшина мачеха его — Мария.

«Ивана-то, мужа-то, — говорит, — убили». Погостила она у меня. А Коля с ней даже и не поздоровался. А на прощание я подаю ей полпирога У нее ведь ребятишки. А Коля подошел к ней да и вырвал пирог-то. Мне говорит: «Ты, мама, видно, меня не жалеешь нисколько». Я говорю: «А чего? Надо ребятишкам-то». — «А ты знаешь, — говорит, — они у меня все вырывали, убирали мой хлеб». А она тут: «Ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак». — «Ничего, — говорит, — не дурак». А я ему говорю: «Отдай это. Алешке да Люське — хлеба-то пошли им». А голодовка страшная, целыми семьями умирают... Вот пошла я в церковь ко Спасу.

Тут от Кузьминского семь километров. Я уж и службу там правила Прихожу из церкви. Мария Михайловна, учительница, говорит: «Шура, подавай в суд». — «Чего?» — «У тебя обыск делал Хазов». А это сосед наш, у школы жил. Он меня сразу невзлюбил. А я: «Да хоть каждый день делай, я не запрещаю. Ты же знаешь, я не запираю». Это он колосков у меня срезанных искал.

Тогда за колоски-то сажали. Без разговоров. Смотрю, он и идет. А вчера, я сама видела, евонная дочь весь день колоски срезала Я говорю: «Иван Петрович!» — «Чего?» — «Ты ведь ошибся обыск-то делал». — «Почему?» — «Потому что у тебя надо обыск-то делать». — «Как это? — такая мать», — изматюгался... «Так, — говорю, — у тебя дочка вчера весь день колоски обрезывала Я все видела. А мы никто не сорвали и колоска Пожалуйста, ищи у меня хоть каждый день». — «Так чем же ты кормишься?» Я говорю: «Обо мне три прихода молятся, чтобы не умерла. А об тебе три прихода молятся, чтоб ты скорее подох». А потом они правда все умерли — и жена, и он, осталась одна сноха. Ведь семьями у нас умирали... А я тут еще и заболела — операция была у меня. Нельзя мне стало техничкой работать, так дом в Михееве — по соседству — купила. Восемь лет в своем доме жила. Михеево от Кузьминского полтора километра Тут все деревни рядом — Михеево, Горка... Это тот дом,

что я за машину выменяла, за швейную. Хорошая у меня машина была... А в Михееве я пасти стала. Порядилась.

За двенадцать пудов хлеба и за пятьсот денег. Сто двадцать четыре головы да телята.

Там все вместе — и деревенские, и колхозные. И потом выговорила, чтобы мне избу покрыть соломой.

Ну, и кормить, конечно, кормили. И летом двадцать килограмм муки на месяц. И молока литр в день — пока пасешь... Ну, я поряжаюсь, в первую очередь говорю: «До Егория, какая угодно будет погода — не выгоню». А бывает, и кормить-то нечем... «Надо — выгоняйте, до Егория пасите сами. А в Егорьев день я схожу в церковь. Я — именинница. Себе молебен — царице Александре, скотине молебен — великомученику Георгию. Водосвятный». Они деревней соберут денег на водосвятный-то молебен, принесу им всем воды бидон. Им дам — в дому каждый окропит, а потом всю скотину окроплю — и колхозную, и ихнюю. Это — на второй день. Говорю: «Кто будет пускать телят с коровами сейчас, пока не окропила...» Беру крест, беру икону Георгия, три раза стадо обойду... «Ну, теперь, — говорю, — скотину в поле не бейте — вы не хозяева Бог пасет у меня... Ээй!» — и скотина за мной вся. Я никогда и не ходила сзади скотины. Все вперед, и вся скотина за мной. Весь день за мной и ходят. У нас и дома ни Тятя, ни Мама скотину никогда не били. А весной у нас скотина выгонялась, как вымытая.

Ведь у Тяти такое место соломы было — по двести суслонов ржи. В неделю раз он во дворе стелет солому. И стелет сам, рядами. И навоз потом легко вывозить. Соседи, бывало, Маме говорят «Ты, Пелагия Автономовна, чего-нибудь да знаешь. Слово какое. Вон как скотина твоя домой бежит». А Мама: «Знаю, знаю. Как же не знать? Вот по ведерку им припасу пойла, да еще муки туда подсыплю, отрубей. Вот они бегом и бегут». И никогда мы не бегали за скотиной. А у нас-то там, на Водоге в колхозе скотницы — гонят их, да с матом, с батогами. «Ой, — кричат, — Шура, помоги загнать». А я: «Только отойдите вы. — И скотине: — На место, милые, на место. Вон твое место. Беги на место». Они зайдут... И они тоже говорят «Ты чего-то знаешь». И председатель колхоза Павел Тараканов тоже... Я ему говорю: «Вот я у вас сколько годов пропала, и ни одна скотинина не пропала». А он: «Ну, дак ты со словами». — «Ах, я со словами?» — и не пошла к ним больше пасти. Он потом приходит, зовет. А ему: «Ты ведь партийный человек, председатель. Как тебе не стыдно это говорить?» — «А почему?» — «А потому, что мертвый потонул. Никаких слов у меня нет». Женька мой обойдет с крестом да иконой весь выгон. Георгий Победоносец — иконка. Потом на елку ее тут повесим.

Так она там и осталась. Три раза так обойдем. Как мы начали пасти, так Женьке еще восемь годов было.

Бывало, побежит за коровой, ругает ее, чуть не плачет «Ты страшная... на рукомойник ты похожа. Ты погляди на себя — какая ты есть. Ты — дура!» Да и заревет. А быки-то его любили.

Бык Фомка все ходит по выгону, ищет, где Женька лежит. Найдет его, так рядом и шлепнется. А Женька из него все вытаскивал каких-то гадов... Толстые, а голова тонкая. Всех их вытаскал у него... У меня ведь ребятишки не воровали, так их все люди жалели, все их любили. Бабушка Варвара Коле говорит. «Ты уж ко мне почаще ходи. Вот бы надо матери твоей сходить одеяло отдать выстегать, да мне не дойти». А он: «Выстегаем, баба Варя, я умею». — «Как ты умеешь?» — «Да так. Я ведь видал, как мама стегает. Давай выстилай». Наметил: «Выстегаем, баба Варя, сами... не понесем». Он уже у меня в Колодине учился... Вот и выстегали. Она его неделю кормила. В такое-то время... А то у меня соседи Куликовы были. Эти все воры. И мать, и отец, и три парнишки. А она все говорит «Какие у меня ребята путные — все в дом тащат».

А я ей: «А я своих за эту путность убью. На ногу встану, за другую раздерну». — «А у меня все несут». Я говорю: «Анна Александровна, у тебя огород-то вон какой большой. Неужели тебе своего луку не насадить? Больно он недорог». А тут ребятишки по ночам воровать идут. Так и батька ходил с мешком за зеленым-то луком. А как выросли они, так все и по тюрьмам, так уж и не выходили.

За хулиганство, за воровство — все три сына. А я тут пошла домовничать за полкилометра. А у меня мешок пшеницы был, за пастушню заработанный. Утром прихожу — отперто у меня. Я сразу в чулан — мешка нет. Я побежала к соседу Володюхе: «У меня мешок пшеницы украли».

А бабушка Марья говорит: «Ой, девка, да я ведь и видела. У тебя огонь-то засветился ночью. Ой-ой-ой, как жалко». На санках увезено-то — след есть. Говорят «Это — Витька Репин». Я к ним пришла, меня мать его Люба еще и отругала: «Как чего пропало, так думаете, уж и Витька!» Ну, ладно, взяли — пускай берут... А через два дня выборы. Они все были в Колодине. Приехали в Колодино. Ко мне подходят люди-то, говорят «Тетя Шура, у тебя пшеницу украли?» — «Украли, милая, да что поделаешь». — «А мы, — говорят, — знаем, где твоя пшеница. Ваня Седой купил у Витьки Репина». Я подхожу к Володе — к евоному дяде, он сирота.

Лет ему четырнадцать было, Витьке, без отца рос. Я дяде и говорю: «Люба-то меня отругала твоя. А пшеницу-то Витька ваш украд». — «Да что ты?» — «Да, — говорю, — вон Ване Седому продал». — «Ну, — говорит, — отберем». Он пришел домой, видно, там поругали этого Витьку.

Он бежит ко мне: «Тетя Шура, я уж не поеду за мешком. Съезди ты сама Я ведь боюсь и ехать туда. Ведь он мне не отдаст». Я говорю: «Мне отдаст». — «Ты поди и в суд подашь?» — «Нет, — говорю, — почто мне суд? Нашлась, так чего тут в суд подавать, по судам ходить. У меня у самой два растут, может, еще хуже тебя будут. Нет, не буду подавать». Пошла, прихожу к Ване в Климовское. «Ваня, пшеницу купил?» — «А тебе какое дело?» — «Давай мне мешок пшеницы!» — «Плати деньги!» — «Нет, не буду платить. Я у тебя не покупаю, я за своим пришла Давай без разговору! А то сейчас Митрий Григорьевич придет, депутат». Подал мешок. И уж он меня, он меня катит по-всякому. «Ничего, — думаю, — пойте молебен мне сзади». А мешок-то я домой повезла. Вечером прибегает Витька «Тетя Шура, получила?» — «Получила Будь в покое. Скажи Любе и Володе, чтобы не ругали тебя. Больше воровать не ходи». — «Тетя Шура, больше никуда не пойду». — «Не ходи, милый. Видишь, как худо воровать-то, стыдно...» А Седой-то мне больше году на глаза не попадал. А тут к зиме на четвертый день Знаменья у меня бабушка Татьяна сидела. А огня-то ни у кого почти не было, у одной меня из всей деревни.

Вдруг слышим, стучается у калитки. А у меня изба старая была, а запоры хорошие, поперечные. Я выхожу «Кто?» — «Да я, Ваня». — «Чего тебе надо?» — «Бабушку Татьяну». Отперла я.

«Бабушка Татьяна, я к тебе». — «Вижу, батюшка, что ко мне. Чего тебе надо-то?» — «Балалайки». — «Да ведь у меня без струн». — «Ничего, — говорит, — давай и без струн». Она встала, пошла, а меня он вот эдак за шею ухватил. «Ты что, — говорю, — сшалел?» Они пошли, я и заперлась. Он там сходил, ну, без струн — куда балалайку? Обрато идет.

Опять стучается.

«Кто?» — «Я». — «Тебе у меня делать нечего». — «Найдем работы». — «Ах, ты седая б...!» Я другим ходом выскочила и к соседям: «Ванюха! Володюха! Седая б... пришел ко мне ночью работы искать!» Они соседи хорошие, они с ума по мне сходили. Они выскакивают, один кол схватил, другой — оглоблю, да и за ним... Всей деревней прогнали. На другой день всем

известно. «Что, Ваня, не нашел работу-то?» — «Да ну ее. Она дура ведь нагольная». — «К такой-то дура и пошел работу искать...» Ладно, хорошо... А я к своим ребятишкам все говорила «Чего вам надо, я из-под земли достану. А узнаю, что украл, — убью. Ни за что не убью, а за это — убью. На одну ногу встану, да за другую раздерну». Так мы с ними шесть лет и пасли... Да тут ноги у меня разболелись. Боли — страшные. Вот обуваюся, — а ведь надо пасти идти, — обревусь вся. Я уж и сапоги большие резиновые мужские достала И опухоли никакой на ногах нет — ничего. А боли страшные. Два года мучилась. Чего-чего не делали... И уколы мне прописывали, и сидеть на муравейнике. А тут наши ехали к Спасителю, это в Тутаев. Там у них икона большая, явленная. И Женька мне: «Мама, поезжай ко Спасителю. У тебя ногито и заживут». — «Да и ехать-то не в чем». А он: «Да я к тете Опросе сбегаю, тебе сапоги резиновые принесу». Принес, дала, говорит, ко Спасителю съездить. А голодовка-то... Я ему говорю: «Ты муки тете Опросе снеси, она тебе колобух напечет». И вот поехала. Приехали в Тутаев, в церкви там и ночевали — в соборе — там всю ночь поют, молятся. Икона — Спас Нерукотворный. А утром до обедни все пошли мы на источник, три километра от собора. Тогда еще его не заваливали, он сильно бьет. Я ноги-то и поставила. И вот, веришь, оттуда пошла — туфли свободно надела. С тех пор вот уже почти сорок лет ноги у меня никогда не баловали — исцелил Спаситель... Летом-то у меня грибы, ягоды, летом пастушня. А вот зимой-то... И ведь полями хлеб да картошку заваливало — а тронуть нельзя, сейчас посадят. Десять лет — без всяких разговоров! У нас на горушке, помню, целое поле картошки некопаное — семь гектар замерзло.

А к весне совсем есть нечего. Я получаю на троих на неделю кило триста хлеба. А Коля мой уж в Колодине учится — пятый класс. Из церкви в воскресенье иду я в Юрьево, за тринадцать километров. Там в Юрьево и получали хлеб. Прихожу домой. Кило триста. Надо Колю в школу отправлять. Надо с собой хлеба дать. И Женьке надо дома оставить. Женьке отрезала маленько, даю: «На, Коля». Его проводила за реку. Пошел в школу.

Пришла домой, думаю: «Господи, что делать?» Женька говорит: «Пойдем, мама, собирать горох гусиный на гуменике под сеном».

Ничего и не набрали. А день хороший — солнце. Я гляжу: на горушке, на картофельнике на этом — там прогалинка. Оттаяло. А туда попасть как? Снегу вот по это место...

«Пойду, — думаю, — с топором. Может, чего и вырублю». Пошла. Снегу столько... «Пойду, возьму лыжи».

А на лыжах не ездила — одна туда, другая сюда Все-таки добралась до прогалинки.

А тут конюх у нас был, смотрит издали на меня: «Ой, такая мать, медведь — не медведь, человек — не человек». Пошел домой, выстрелил кверху. Если медведь — так побежит... А я и пробралась. И в аккурат только одна ботвина вытаяла. Я ее вырубил. И лежат, как яички, пять картошин. «Ой, — думаю, — слава Тебе Господи!» Принесла домой. Говорю: «Женя, не умрем!» — «Слава Богу, мама, не умрем». — «Не умрем! Сегодня я испеку колобуху». Истолкла картошины и испекла на сковородке. Пополам разрезали и съели. Слава Богу! Сегодня поели. А день-то хороший... На другой день пошла туда — пять колобушек нарубила! И уж больно хороши — белые, как пшеничные. Испекла, говорю: «Ешь!» Два раза мы поели. На третий день пошла — полведра нарубила. Принесла. А еще никто ничего не знает. Соседи-то. Напекла.

Думаю, если сегодня Бог нищего какого пошлет, досыта накормлю. Хватит. И Женька тоже это говорит. Это мы, значит, до среды дожили, это в среду я нарубила... И только Женьку я накормила — идет нищий. Волосы дыбом — как со страшного суда сбежал. «Здравствуйте». А ведь и я симпатичная — под глазами такие вот мешки висят — с голоду-то. Пеку колобухи.

«Пилы точить, — говорит, — ножницы!» — «Ножниц нет, — говорю, — в дому, и пил нет в

дому». — «Ну, дак милостыньку». — «Садись, — говорю, — на порог». Он мне почти все колобухи обделал. Думаю, оставить хоть Женьке-то... Ест да похваливает: «Ну и хороши... Пшеничные? Как ты хорошо живешь, — говорит. — Ты с кем живешь-то?» — «Вот с ребятишками, — говорю, — один в школе, другой на печке». — «А где твой муж?»

А я говорю: «Объелся груш, да утащил его уж». — «Ой! Да ты без мужа эдак живешь? А ведь поди плохо без мужика?» А я уж догадалась, чего он говорит. «Да ведь плохо, — говорю. — Вот картошки мороженой нашла, вырубил, да едим. А мужика-то не вырубил». — «Да, да, милая, да, милая. Да, мужика трудно найти, да, трудно». Знай заливает, наелся. Потом говорит: «Давай-ка возьми меня. Будем жить».

— «Ой, — говорю, — эдакой-то хороший, да и пойдешь ко мне, к такой страшной?» — «И пойду, и будем жить». — «Ой, — говорю, — такой-то ты хороший, да без рубашки». — «Да ведь и у меня-то рубашки нет». — «Так как же будем жить-то?» — «Наживем!»

Я говорю: «Один ты без рубахи ходишь, а у меня ребятишки. Катись к такой матери да не оглядывайся. Чтобы твоя нога тут не была! Думаешь, я тебя из-за этого кормила? На что ты мне нужен?» Так ведь год не попадался навстречу. А потом, что ты скажешь, женился, взял Лизу в нашей же деревне. Дура она была нагольная — заработала в колхозе два мешка хлеба, надо взять Сашу. Пошто?!

Я говорю: «Пошто ты берешь? Ведь у тебя ребятишек двое?» — «Дак ведь что ты... Ведь он молодой мужик». А я: «Да что в нем толку. Один и по миру бегают. Маленько-то у тебя голова варит?» — «Да чего там...» Раздерутся — ко мне идут. Оба идут ко мне.

Я уж когда дом в Михееве продавала, он ревел, как корова, — некуда будет от нее бегать. А потом уж все у нас в деревне про картошку мороженую эту узнали и стали печь колобухи, «тошнотиками» их называли... Надоели они потом — сладкие. Был у меня такой протвешок — испеку их три протвешка. Утром ребятишкам дам по три колобушки и в обед — по три колобушки. И вечером — по три. А Женька не ест, все свое уберет. Буду пол мыть — в платке завернуты... Не ест, а все убирает, — Может, потом захочу. А потом у нас вика была некошенная, он туда стал ходить. На эту вилу. Пойдет. Стакана два наберет. Я ему и сварю. Это он уж лучше ел. А то ячмень ходил подбирать — тоже прошлогодний. Ячменю в котелке принесет. Может, грамм триста Я ему смелю. Испеку... Пойдет. А соседка Поля кричит «Женя пошел?» — «Видишь сама, — чуть не плачет, — задерживает. Пока задерживает, он бы уж горсть набрал». — «Погоди, и я пойду». — «Погоди, погоди, сама еще кошелится». А она не пойдет, нарочно его. А ведь еще холодно. Идет домой, замерз. А она: «Женя, озяб?» — «Видишь сама, что озяб...» — опять заревет. «На, — скажет, — стакан молока выпей». — «Нет, мама меня испорет всего из-за тебя». — «Я не скажу, я загорожу». — «Тетя Груша увидит». — «Да я загорожу, выпей». Придет домой: «Я, мама, не брал, она заставила меня. Я не просил». А на Страстной Коля пришел из Колодина, а мы с Женькой оба страшные. У меня вот такие мешки под глазами висят, а у Жени ноги тоненькие. А лапы вот какие... «Ой, мама, — Коля говорит, — вы ведь умрете». На второй день побежал в Полтинкино. Бабушка Настасья оттуда послала мне пять эдаких картошин больших. Хороших. Хлеба тоже послала...

А ведь везде голодовка. А там, он видит, на поле рубят кочерыжки — после капусты на поле остались.

«Ой, какие, — говорит, — мама, хорошие. Я попробовал нарочно». Пришел домой, а у нас еще и не знают этого дела Схватил корзину, взял ножик — притащил корзину нам этих кочерыжек. Я их все обиходила, сделала. И два противня сделала колобух... Чего мы только тогда не ели.

Липовый лист... Его истолкешь, как мука будет, больно уж хорошо. Только у меня от него по

всему телу провалы пошли, двадцать два провала по кулаку. Мне не наклониться, не пошевелиться. А ребяташки у меня тут лен дергать ходят. Они соседке Кате помогли дергать.

Так вот вечером она несет нам маленькую чашечку муки да пять-шесть огурчиков.

Ведь тогда на четыре дома одну корову держали — по одной титке... Липы все объели, за конским щавелем по пять километров ходили. Корова сдохнет, ее заруют. А народ уж видит где — ночью откопают... и едят. И от этого многие помирали. Да что там околеватину — людей мертвых ели.

Была у нас такая, я уж про нее слышала. Да и была она у меня. Про нее уж все тут знали. Она уж отсидела да из заключения шла. Зашла ко мне ночевать. Я ведь всех пускала — все знали. «Я, — говорит, — иду из заключения». А за что — не рассказывает. А я-то ее узнала. Я спросила фамилию, имя. Я уж знаю, кто это. Она девочку, свою дочку, — эту она мертвую съела. Сварила да и съела. А потом и сына Ваню убила да и съела.

Я ей и говорю: «Как же ты так сделала? Ванюшу-то?» А она говорит: «Да он мой. Из меня шел — в меня и пошел. Так и должно быть».

Голодовка. А девочку первую она мертвую съела. Свезла пустой гроб, закопала. А ее изрубил и сварил. А я: «А как же у тебя руки-то на него поднялись?» А она: «А мы, — говорит, — пошли с ним к моей матери. У нее корова. Она подоила корову и несет. Мне стакан наливает молока, а Ване-то целую кружку. А я говорю: „Мама, кабы не было у меня Вани, ты бы мне целую кружку налила бы“. А Мама говорит: „Дура, да ведь он маленький. Ему надо“. И так мне обидно стало.

Посидели мы у нее, я говорю: „Пойдем, Ваня, домой“. Домой пришли. Я ему говорю:

„Будем мыться сейчас. Давай раздевайся“. У меня стул деревянный тут стоял у стола Ваня сел на стул на этот. А я: „Раздевайся, раздевайся, сейчас будем мыться“. Он и разделся.

„Сначала, — говорю, — поиграем в прятки. А потом полезем в печку. Ты наклонись, а я буду прятаться“.

А топор-то у меня тут лежал. А ему видно. „Нет, — говорю, — ты не эдак. Ты вот так положи голову, чтобы тебе не видеть“. Он и положил. А я топором — так голова и откатилась».

А я тут: «И ты в уме устояла? Не сошла с ума?» — «А что? — говорит. — Я все изрубил. Посолила в ведерочко. И стала есть помаленечку...»

А соседи спрашивают: «Где у тебя Ваня?»

А я говорю: «Ушел к сестре». Там справились — нету Ваньки, не бывал. Милицию потребовали. Милиция приходит, а я говорю: «Ушел он, не знаю я. Надо бы искать его». А челюсть-то и лежит на окошке. И милиционер эту челюсть-то и взял в карман. К доктору. А она — «человеческая». Ей семь годов дали... Так она у меня и ночевала. Я ее напоила, накормила. Только уж больно страшно... Ко мне, бывало, все идут. Вот приходит нищая бабушка Акулина. У ней и сын есть, только они ей не помогали, она по миру ходила У нее была двоюродная сестра в Савинском, она все к ней приставала... Приходит она ко мне, говорит: «У меня есть две меры мелкой картошки... Я, наверное, умру». (А уж вся опухшая.) — «Ну, что ты, — говорю, — бабушка Акулина, поправишься, может». — «Нет, милая. Вот я умру, так ты эту картошку себе и возьми. А у меня боле ничего нет. У меня простыня есть да полотенце. Это я умру, так ты мне саван сделай. Ты все сделаешь, я тебе доверяю». И правда, она тут через два дня умерла. А картошку я и не взяла, у меня тогда была своя картошка. А то еще бабушка Прасковья Ковалева. Это — богачиха страшная. Сначала у нее

муж умер. Она ко мне идет: «Шура, дедушка у меня умер». — «Ну, уж, — говорю, — ему годов-то много». Она говорит: «Восемьдесят шесть». — «Ну, так чего же. Два века ведь не будет жить». — «Приди, — говорит, — почитай по нем». — «Почитаю, приду».

Пошла, почитала. Надо хоронить. Я говорю: «А саван?» А она «Матушка, не из чего шить».

А я: «Не дам тебе с лавки взять покойника. Дедушке Ивану жалеешь на саван? Да как тебе не стыдно?!» — «Так где же мне взять?» — «Не ври! — говорю. — Я знаю. Пожалуйста, не ври». И приносит — суровая ткань: «Вот только и есть». — «Ну, эта, — говорю, — годится». Я взяла да всю ее и искроила на три полотнища, чтобы ей не осталось. «Вот теперь, — говорю, — ладно». Похоронили. Такое богатство, всего — хлеба... Хоть бы собрала бедных покормить.

Нет... Испекла калачиков эдаких — всем по калачику подала. И все. И спрашивает меня: «А батюшке за отпевание чего?» А ведь и у батюшки ничего нет — голодовка.

Я говорю: «Батюшке, отцу Георгию, снеси муки». — «Ой...» Я говорю: «Да! У тебя, — говорю, — много сгниет». — «Ну, так ладно, ладно, снесу». Пошла и ко мне по дороге зашла: «Вот несучи. Ты не думай, что не понесла». Ну, килограмм семь-восемь. Это — отцу Георгию.

Обратно идет: «Снесла. Ой, как благодарил! А на сорок дней испеку ему каравай — настоящий, большой»...

Уже не знаю, испекла или нет. А потом она сама заболела — люто болела, месяца два. Тяжело болела. Приходит ко мне ее сноха: «Пойди, почитай по бабушке Парасковье». — «Так а чего? Она не умерла еще?» — «Нет. Ей надо читать за болящую». Я пришла к ней, за болящую прочитала. А она: «Читай!» — эдак вот. А я: «Чего читать-то? Я ведь за болящую прочитала». — «Читай, я сказала!» Я говорю: «Не кричи». Тут я на исход души ей прочитала.

«Пойду, — говорю, — домой». — «Читай! Не отходи. Ты читаешь, так мне лучше. Ой тяжело, ой тяжело». Я говорю: «Конечно, тяжело. Поди как всего жалко?» — «Ой, не говори. Эдакое-то место всего-то».

Семь пар новых валенок. Два тулупа. Одежда шубные новые, это меховые». И все эдак: «Читай! Читай! Читай!» Но вот померла. Тут я по ней опять читала.

Сноха говорит мне: «Саван-то не знаю из какой ткани?» И выносит целый ворох — да тонкие, хорошие все. А я говорю: «Не из какой из этой не сошьем... Вот из этой». Да и взяла самую грубую да худую.

«Почему?» — «Нипочему, — говорю, — она дедушке-то пожалела, вон из какой мы сшили. А ей — что?» Ну, уж по ней-то сноха сделала поминки. Отец Асинкрит приезжал, мы с ним отпевали.

Ночевали тут у них. Про нас все настряпали постное. Сноха-то хорошо все сделала... Ладно, хорошо...

Мне-то еще и не так плохо было, как людям. Мне-то еще многие и помогали. Вот и матушка Еликонида Она на квартире в Яковцеве жила. От Михсева три километра. Сначала-то после монастыря она в Грамотине жила, просворы делала. Она и меня там научила. Ведь всех нас тогда выгнали. А потом, как в Грамотине церковь закрыли, она уехала на родину, приехала да ней племянка. Увезла ее. Далекую туда, станция Вожега. Там она прожила год и приехала опять обратно. И у меня жила зиму — еще и Кузьминском. А в Яковцеве она в колхозе работала, она работать любит. Она все сеяла. А было ей уж годов восемьдесят с лишком. И все работала, все делала до последнего. И все сеяла. Ее все звали — и мужики, и бабы — матушка Еликонида «Матушка, у нас посеешь?» — «Посею, посею. Что эдак делать-то?»

Раньше ведь руками сеяли.

Она получала хорошо. И каждую неделю бежит ко мне в Михеево. «Шурка, я об тебе с ума схожу!» Я говорю: «А чего?» — «Как уж ты с хлебом-то? Ведь у тебя ребятишки». — «Да глядика, у меня много». — «Ой, Шурка, ты все довольна, все много... Какой же это хлеб? Дура, у меня мешок муки стоит». И полкаравая мне подает «Ты себя-то не обижай». Картошки мне принесет.

Еще луку. «Вот это, — скажет, — вместо масла. Ты луку-то покроши». А болела она у нас недолго. С месяц только болела. А хозяйка все не сказывала, чтобы я-то не пришла к ним — чтобы все имение ей осталось. А она лежит и просит: «Да скажите Шурке-то, что я хвораю-то.

Мне надо Шурку-то... А мне все не говорят. А потом Аннушка к ней пришла, Александра Ивановича дочка. А она: «Как мне надо Шурку. Ведь она не знает, что я хвораю». — «Я, — говорит, — схожу сегодня». Она за мной и прибежала.

А я: «Мне сегодня и снести-то ей нечего. Погоди, хоть я клюквы...» У меня клюква была. Да брусники чашку. Пошла «Матушка, да ведь мне и принести тебе нечего». — «Мне ничего уж не надо. Ты мне только компресс сделай». — «Какой тебе компресс?» — «Вот на это место». А я поцеловала ее туда. «Вот как хорошо», — говорит. А я ведь ничего не сделала, только поцеловала. «Вот как хорошо-то мне стало. Я знала, что придешь дя компресс мне сделаешь, у меня все хорошо будет. Я уж Васе все наказала. Меня хоронить-то в Евдокию». Это она за два дня до смерти. «Да что ты, — говорю, — матушка?» — «Нет уж, — говорит, — Вася приедет». (Это сын хозяйки.) А тут за мной приходит Аннушки мать: «Пойдем к нам, почитай. У нас паренек-то больно хворает». Я пошла, почитала. Прихожу к ней опять. Смотрит на меня. «Милая, — говорит, — все, все... У меня хорошо стало все. Прости... все...» И — готова. Я ее тут обмыла, все сделала и домой пошла.

Отвезли мы ее ко Спасу, там отпели ее по монашескому чину, похоронили. Она рясофорная была. Я еще ей в монастыре все правило читала — она неученая была... Ее, бывало, на мельницу посылают, а она: «С Шуркой дак поеду». А я ей там все читала правило. Тридцать лет она управляла скитом, работала, как мужик. Вот пойдем косить, она глазами поглядит, сколько сегодня надо. А там ведь все были подсеки. «Мои, — крикнет, — ко мне! — Нас семь человек с ней косили. — А вы шушера, мякина, говна половина — на эту сторону!» Это — кто плохо косит. Докосим до краю — а земляники-то много, на подсеке. «Шурка! Иди сюда! Вот землянику-то ешь!» А я ведь тоже косить-то люта была. Коса у меня была именная, литовка. У нас только у двоих были такие косы. Любила она меня, царствие ей Небесное! Много мне помогала. Мне вообще помогали.

Был у нас Фатичев, он из города валенки возил. Это которые на шерсть выменивают.

Жил-то он в Колодине. Вот едет из Пошехонья. А у меня дом-то на дороге. Подъезжает. «Ну, чего сидишь у окошка, как чувырла?» А я: «Своя изба, где хочу — тут и сяду». — «Ладно, давай чаю-то грей».

Согрею чаю. Заходит. «Ну что? Поди тебе валенки надо?» — «Так ведь надо, да у меня ни денег, ни шерсти. Чего мне тут спрашивать?» — «Я у тебя ни денег не прошу, ни шерсти. Я тебя спрашиваю: валенки нужны или нет?» — «Так ведь надо, конечно». — «Так и говори: надо».

Ладно. Чаю напьется. «Ну, сегодня ко мне не ходи и завтра не ходи, а послезавтра приходи. У меня жену попаришь да полы вымоешь». Вот и все, больше ничего не скажет. На третий день надо идти в Колодино. Приду. А мне валенки выбраны и ребятишкам выбраны. Дочка уж отобрала. Ну, вот полы вымою, выпарю его жену — она у него больная была. Все сделаю. «Ну, погоди, — скажет, — не торопись еще. В огород сходи, погляди, чего там как». В огород схожу, все там сделаю. «Вот тебе и валенки. А ведь тебе поди и варежки нужны — выбирай

шерсти». А у него шерсть-то всякая... «Что мало берешь?» — «Да я ведь знаю, сколько на варежки надо». — «А я сказал: мало!» Наберет шерсти с килограмм. «И мне, — скажет, — варежки свяжешь. Чтоб вот эти места широкие, чтобы надевались на рукав». Ладно. Свяжу. А он и за это опять заплатит... Или вот керосин. А тогда не было керосину-то. Как вот едут деревней, нигде огоньков нет. А у Шуры все маленький огонек. А я все сижу — то вяжу, то еще чего — надо все делать-то. А потом у меня стал и керосин. Как стал ездить Овчинников за товаромто. Это — из леспромхоза. Снял он квартиру рабочим — тут кормить. Тридцать километров от Носова да тридцать еще. А тут остановка... У Ивана Ивановича сняли напротив меня. А сам-то Овчинников все ко мне. Денег-то везет мешок. Как приходит: «Ну, отворяй ворота». Это у шкафа, у меня.

Ставит туда мешок с деньгами. «И чаем меня пой». А я: «А дедушка Иван не осердится?» — «Я сказал: меня чаем пой!» А огня у меня нет. Я пузырек зажгу эдакой — масла принесу от Спаса.

Он говорит: «Это с таким-то светом?» Говорю: «Да нету у меня». — «Ах, вот что... Последний день сегодня так живешь. Завтра у тебя будет свет. Василий Петрович будет тебе каждую неделю завозить литр керосину». А я говорю: «Да у меня и лампы-то нет»...

Василий Петрович приехал и лампу привез, стекло запасное привез. И керосину. Ни у кого нет, а я как богачка живу. Нас Тятя так учил: «Нищим никому не отказывайте, всех пускайте. Кусок-то многие подадут, а вот ночевать не пустят»... И вот в жизни моей я ни одному нищему не отказала. Какие только у меня не были — и вшивые, и больные, по семнадцать человек у меня ночевало... И на лесозаготовку гонят — всё нашей деревней. Гонят их в такую даль, и никто наши деревенские их не пускают. «Вон, — говорят, — Шура там живет, она всех пускает»... Которые послабее, на печку полезайте, а этим я маленькую печку затоплю... Или лен, трясу везут нашей деревней сдавать. Заготовки. На коровах везут — война. И эти ночуют. А еще у меня рязанцы ночевали.

Они на лесозаготовки приехали, семьями. И поселили их у нас в монастыре, в Сохоти. Весь почти монастырь рязанцы заняли. Они зимой приехали — сена нет, а коров своих привезли. Они все и ездили покупать сено-то. На санках, сами их везут — лошадей не было. По шесть пудов накладут и везут. Бывало, санок по семь, по восемь стоит у меня у дома-то. Ведь в Михееве никто ночевать не пустит. Все ко мне... А я: «Ночевайте. Хлеба у меня нет. А похлебкой накормлю вас». Сварю щей — у меня опенок много засушено, да и грибов. Кислица есть. Котел у меня полуведерный. Печка маленькая посреди полу стоит. Она чугунная, расколотая. Так я кирпичами обставила. Сварится похлебка. «Ой, милая, да как хорошо...» Ночуют и поедут. А потом они какие хорошие. На праздники они ко Спасу на Водогу все идут ведь молиться — больше уж церковей не осталось. Как обратно идут, заходят ко мне. Чего-нибудь да несут. То конфет, то хлеба несут буханку. А я к ним тоже ездила: половики продавать да постели — я за зиму-то натку. Приду к ним в Сохоть. «Сиди, — скажут, — устала с дороги». Сами унесут.

Утром несут денежки. Как услышат «Тетя Шура приехала из Михеева». Бегут — человек пять прибегут. Они и очень верующие. Они мне говорили, что на месте-то, где собор наш стоял, — пение слышали. И много раз слышали... Все и мужики у них верующие. А у меня еще сосед — Григорий Иванович Калинин. Этот говорит «Ты пошто всех пускаешь? Ведь захвораешь, заразишься от них. Мы тебя лечить не будем. Так в дому тебя вместе с заразой и сожжем».

А я: «Это уж как Богу будет угодно». А видишь ты, я не заболела-то, а он. Да и люто, так что помер.

А без меня и похоронить его не могли. Не идут мужики гроб делать — он надосожал всем. Он был тайный агент. Про него говорили: «Там собака есть черная. Потихоньку лает, а люто кусает». А как помер, так родня не знает, что и делать, — нет гроба.

Я говорю: «Ну, уж не без гроба хоронить. Погодите, я к Гусеву схожу в Зубариху». Пришла. Говорю: «Василий Матвееч, пожалуйста, сделайте гроб Григорию Ивановичу». — «Ну, к такой матери! Стоит он гроба!» А я говорю: «Жена заплатит. У ней деньги есть». — «Пятьдесят рублей заплатит, так сделаю». — «Да заплатит, только делай, пожалуйста. Уж я тебя прошу!» Ну ладно, он сделал гроб. Теперь могилу никто из мужиков копать не идет — сестра копала. А он ее бил люто — зубы ей вышиб.

Вот она закопала могилу, да притоптывает: «Не придешь больше ко мне! Зубы не вышибешь!» Затапывает да приговаривает. Я ей: «Мария, кончи разговаривать здесь. Ты чего делаешь-то?» — «Я дело говорю. Больше не придет — зубы не выбьет»... Я ведь пятнадцати годов из дома в монастырь ушла, а оттуда с родины ко мне нищие идут и всем я — «наша Шура»: «Где тут наша Шура живет?» От Богослова нищая идет — «наша», из Коробова идут — все «наша». А где я их видела, когда?

Одна приходит с парнишком, уж ему седьмой год. А сама-то большая, красивая. И вся в лохмотьях. Пришла ко мне: «Где наша-то Шура?» — «Какая — „наша“?» — «А вот из Янго-саря». Говорю: «Это я». — «Ой, так я ночевать к тебе пришла». — «Ночуй», — говорю. «Я с пареньком». — «Ночуй и с пареньком». Стали чай пить. Я подала свеклы к чаю — сладости-то не было. Она: «А конфет?» — «У меня, — говорю, — никогда конфет нету. Вот, — говорю, — щей похлебай. А хлеба нету». — «Ладно, — говорит, — завтра я обойду деревню-то. Насобираю, так, может, наемся». Легли спать. Ночью, слышу, он титьку сосет. Я ей: «Ты что — обалдела?!» — «Нет, — говорит, — я его кормлю». Шляется, вот и кормит. Утром пошла собирать. А то еще от Богослова одна пришла. Тоже к «нашей Шуре» ночевать, утром говорит «Тетя Шура, не надо ли кому попрясть?» Ей лет тридцать было. Моя соседка ее наняла да кормила, а она ей и пасмы за целый день не напярла. Какая это пряжа?! А она пришла, я аккурат захворала. «Ой, — говорю, — Наташка, у тебя поди вши?» — «Да, и много, тетя Шура». — «Да я вот захворала, я бы у тебя их всех выгнала». А утром я и встать не могу, печку-то топить.

Заболела люто. Я говорю: «Свари щей. Вот капуста, вот чугунок», — все указала ей. А она только затопила печку — дым-то валит — тут и поставила. Варить-то. В дыму-то. И грибы-то не помыла, эдаких-то щей наварила... Горькие. Ребятишки хлебать не стали.

Я их потом все пугала: «Вот заболею, а нищая придет, вам щей наварит». А у нас в Михееве престольный был праздник Знаменье, двадцать шестого ноября по-старому. И пришла ко мне сестра Прасковья с зятем с нашим, с Лидушкиным мужем. «Ну, вот, — говорю, — гости пришли. А у меня для праздника ничего и нет. Пиво, правда, есть». Пиво я хорошее варила, у нас Тятя настоящий пивовар был.

«Хлеб, — говорю, — мягкий. Грибы соленые». — «Ой, — говорят, — так и больно хорошо». Я им хлеба нарезала, котелок им пива поставила — пейте. Уж и чаем не буду поить — нет у меня никакой сладости. Ничего нету. «Ладно, — говорю, — подождите. Может, и придут сегодня ко мне. Жду, да не знаю...» А у меня шесть одеял выстегано. Лежат. И она мне тоже принесла одеяло стегать — Прасковья. «Ладно, — говорю им, — ложитесь спать». А я стала ей одеяло стегать — пока они гостят, надо выстегать. Только они у меня засыпать стали, у калитки стучаются. Еще у меня и муки нет. «Тетя Шура, бери муку! — соседка. — Из-за твоей муки и мне дедушка Иван смолот, кабы не тебе, он бы мне и молот не стал». — «Ну, — говорю, — теперь пирогов напеку». Сходила к бабушке Татьяне через дорогу, принесла молока кринку. Все.

Растворила пирогов. Опять стегаю. Стучаются опять, в двенадцатом часу. Володя едет, сосед тоже. Везет товар в Носове.

Варя, жена его, бежит ко мне, стучается: «Тетя Шура, на конфет. Володя привез, велел тебе подать. Полкило конфет». — «Ну, — говорю, — праздник есть. И чай есть, и пироги есть». А

зять Иван лежит, все поглядывает. Утром Алексеевна идет — она хлеба пекет на магазин — каравай хлеба несет. «У тебя, — говорит, — гости пришли, заходили в магазин». — «Да, — говорю, — пришли». — «Вот тебе, — говорит, — пол-литра самогонки. Вот тебе два стакана». Думает, у меня и посуды нет. «Да, — я говорю, — у меня посуда-то есть». — «Ну, принесла, так не принесу обратно. Гостей угости»... Я говорю: «Ну, Иван, праздник на все сто!» — «Чего, крестная?» — соскочил, «Самогонки, — говорю, — пол-литра принесли!» — «Ну, крестная, я гляжу — тебе хорошо жить!» — «Так заработай, и тебе принесут. Ведь мне не так несут. Вставай, — говорю, — Параня, картошку чисть — рыба свежая есть. (Володя привез мне и рыбы.) Пожарим картошки с рыбой, да рыбников напеку»... Идет Анна Александровна, соседка: «Шура, выручи. Дай мне хоть двух половиков. Приехал брат из Рыбинска, а ни постельки, ни одеяльца».

А я: «Так вот и постель возьми. Из Рыбинска гость, что уж половики. На вот и одеяло дам»... И эта несет поллитра самогонки. Я гляжу — ну и богато, ну и хорошо. Сели чай пить, а Иван: «Ну, крестная, тебе и живется!» — «А ты спроси, — говорю, — крестная ночи спит ли?» Мне сын Коля, покойник, все говорил, бывало: «Мама, ведь это удивительно, как ты сама с голоду не умерла, да и нас с Женькой не уморила. Ведь мы и полуоколеватины не едали...»

Январь, 1986 г.

Петрово

ГОЛОВАН ТОЛСТОГОЛОВЫЙ

Тятя наш после отца остался годовой. А сиротой круглой остался шестнадцати лет. На одном году у него было три покойника — брат, сестра и мать. Два года он жил один. Опекуны у него были — дедушка Илья, сосед тут, он по свойству, только дальняя родня. И еще отец протоиерей ходил к нему, навещал его. Две коровы у него были, лошадь. Работать ему помогали, опекун заботился обо всем. Очень строго его держал. Ведь раньше старших-то слушались и Бога боялись. У меня тятя Бога боялся. Он до восемнадцати лет и на беседы не хаживал.

У нас в деревнях все беседы были — девки, парни сойдутся... Только все с работой. Девки кружева плетут, а ребята из кудели стельки стегали валенки подшивать. Вот и разговаривают. Раньше ведь не шлялись, как теперь. А Тятя на беседы не ходит, если пойдет, дедушка Илья переметником напорет его. Он его боялся. В восемь часов обязательно придет дедушка проверить его...

Дожили они до осени. Дедушка говорит: «Пойдем в лес лыка драть». — «Какие лыка?» — «Какие укажу». Березы ему указывал — на этой будем драть. Большой пук надрали.

Пришли домой. Дедушка говорит: «Очини, обрежь ровно». Тятя обрезал. «Заплетай, — говорит, — лапоть». — «А как заплетать?» — «Помучишься, так научишься. Возьми четыре лыка да поворачивай». Сначала у него вроде как кошелек получился. Потом сплел кое-как лапоть.

Второй лучше получился. И сплел он четырнадцать штук, да все на одну ногу. А потом научился плести и на другую. А лапти раньше — двенадцать — пятнадцать копеек пара.

Дедушка Илья и продал ему их. «Ну, — дедушка говорит, — научился лапти плести, теперь учишь совки и чаши деревянные резать». И это Тятя научился. Он у нас все умел. Еще чаши

плел из еловых корешков. И из бересты корзинки. А хлеб ему бабушка Марья свой носила — дедушки Ильи жена. И вот говорит она ему как-то: «Чего мы, Колька, тебе все хлеб носим. Давай тут, дома испекем». Завела ему квашенку, поставила на печь, завязала, да и ушла. До утра.

А он сел лапоть плести. А квашенка-то заходила, да и на печке: пык, пык, пык. А он думает: кто-то на печку у меня забрался. «Не пугай, — громко говорит, — не боюсь». А она все пыкает и пыкает, да все громче. Он скорее одевается, обувается да бежать. Да в дверях себе чего-то прихлопнул.

«Отпусти, — кричит, — не буду! Отпусти!» Чуть в портки не наклал... Прибежал к дедушке Илье: «Кто-то забрался на печь да пугает меня!» А дедушка, у него поговорка такая была — ядри-голова: «Так я ему сейчас дам, ядри-голова. А если ты наврал, тебе будет переметника». — «Да пойдем, дедушка Илья, он меня там все пугает и пугает». Пришли. И бабушка Марья пришла. «Слышишь, все: пык, пык, пык». Бабушка Марья говорит: «Дурак ты, ведь это квашенка ходит». Был ему семнадцатый год. Парень живет один, двор большой, большущий.

Неповадно парню одному. Исполнилось ему восемнадцать. Дедушка Илья говорит:

«Колька, пойдем со мной в магазин». — «А что делать?» — говорит. «Пойдем, надо тебе обнову покупать». Пришли. Купил он ему на полупальто, на штаны и на рубашу. Покупает материалу хорошего и подкладки: «Пойдем теперь к портному». Портной меряет его, шьет пальто, штаны.

А рубашку шить пошли к Агафье Ломоносой. И сказал дедушка: «Чтоб в воскресенье все было готово». А они уж с отцом протоиереем уговорились, что его женить надо. Сшили, одели во все и говорят: «Надо тебя, Колька, женить. Хватит. Живи самостоятельно, сам по себе». А они уж ему и невесту нашли. Грибанова свояченица. Хорошая девка. Они уж там и с Грибановым договорились. «Пойдем, — говорит дедушка Илья, — я тебе на беседе ее укажу».

Указал он ему невесту, вот все и знакомство. На второй день пошли с невестой Богу молиться, а через четыре дня и венчаться поехали. Стали жить они очень хорошо. Была она на год его старше, прожили четыре года. Двое деток, две девочки. А в третьих родах она померла. И ребенок, девочка, померла, только что окрестить успели. И остался он с двумя — обе девочки — Мария и Анна.

Овдовел он Постом Великим на первой неделе. И тут отец протоиерей ему сосватал Маму. Она сирота была. Девять годов ей было, как отец помер. Их у матери было три девочки да брат.

Жили они в деревне Щетниково. И вот мать отдала ее к господам в одиннадцать лет.

Фамилия барину была Медведев. От нас усадьба была девять километров. И жила она у них семь годов.

Сначала нянчилась, потом кухаркой, а потом уж горничной. Вот отец протоиерей ее Тяте и сосватал. Ну, господа замуж ее выдали, одели как положено. Все приданое, платье шелковое хорошее, и нижняя юбка шелковая. Платье шерстяное. Шуба лисья. Бурнус — это драповое летнее пальто, и оно все обделано кистями да бисером. Косынку вязаную и шаль.

Ну, все, буквально все. И к ним еще и в гости они с Тятей после свадьбы ездили. А свадьба у них была после Пасхи — в Егорьев день. Я у них была сямья старшая. А всего родилось тринадцать человек. В живых осталось только пятеро — четыре сестры да брат. А те все маленькие умирали — год, полтора. Хорошо у нас Тятя с Мамой жили. Только уж без дела не

сидели, не шлялись.

Работа круглый год. Я сама пошла десяти лет работать — боронить на молодой лошади, жать, косить. А Галина, сестра, та девяти лет пошла. С весны первое дело у нас — пахать. Тятя у нас пахарь был. У нас всегда из всего поля полоса выделялась.

Отец протоиерей, бывало, придет: «Ну, Колюшка, пахарь мой, когда будешь пахать?» — «А вот дня три-четыре, — скажет Тятя, — и пахать поедем». А у нас ручей разливался аккурат за двенадцать дней до пашни.

Так уж повелось. А у нас полосы были большие, хорошие. В каждом поле. Три поля: озимое, яровое, паренина. Паренина — это пар будет. Паренину три раза пыхали. Первый раз вспашут, заборонят хорошо. Потом навоз возят и опять пашут — это заваливают. Навоз завялят и уж не боронят.

Только вспашут, оно и стоит. До Ильина дня. «Ну, — бывало, Тятя скажет, — давайте помолимся, надо пахать начинать». Встанем все, помолимся. Тятя поехал пахать.

Тогда ведь все с молитвой. Тогда ведь все с молитвой. А самое первое у нас начинают сеять овес.

Пахал до обеда, с обеда поедем сеять. Опять все — благословись. На крестопоклонной неделе у нас пекли кресты, а в Благовещение дают в каждый дом из церкви хлеба благословенного — вот хлебец этот и крест растолкут и прибавят к семенам. Тогда все с молитвой, все благословясь. До Егорьева дня скотину пастись не пускали. А в Егорьев день для каждой деревни водосвятный молебен служат и воду с собой уносят — скотину кропить. И в Казанскую летом тоже заказывали водосвятный молебен с крестным ходом. В этот день никто скотину не отпускал, а после молебна гонят ее мимо — а батюшка всех кропит водой. И лошадей всех тут ведут.

Молебны были и об дожде, и об ведре, чтобы дождя не было. Как нету ведра, скажут: «Надо молебен». Соберутся тут три прихода. В церковь придут — народу ужас сколько. Все молятся.

Диакон у нас хорошо больно молился — каждое словечко понимаешь, и все со слезами. А то как-то в самый Иванов день, в Рождество Предтечи пришли из церкви. А у нас в Иванов день гуляние в Сокольникове. И вот все пойдут с двух часов там на гуляние. Только сели пить чай, маленькое облачко идет, небольшое. Тятя говорит: «Ну и ладно. Гуляние нарушится, не пойдут мокнуть-то». Потом уже не облачко — туча, стала краснеть, краснеть. И вся как огненная сделалась. Все перепугались. Какое тут уж гуляние. Все скорей обратно в церковь, молиться. И пошла туча краем на лес, там и пропала... Тогда люди были верующие. Вот тетка моя Татьяна девица была. Так в девках и умерла. Она и не гуливала, на беседах не бывала. Их четыре подруги у нас было — они вчетвером дружились. Вот придут из церкви, уйдут на поляну, там сидят псалмы поют, каноны. А службу как знали? Вот в воскресенье в храм идти, а они знают, какое Евангелие читаться будет... Вообще тогда люди не эдакие были. У нас из Путилова — нашего же прихода — был монах отец Серафим. Иеромонах в Обнорском монастыре. И было ему там искушение — хочется на мать поглядеть. Никакого нет терпения. А она так у нас в Путилове и жила. Надо ему идти. А отец-то Никон, игумен, тоже вроде прозорливого был, и говорит ему: «Ну, уж раз эдакое нетерпение — пойди! С Богом!» Благословил его.

Он и пошел.

Всю дорогу пешком ведь шел. Долго шел — далеко. Пришел в Путилове. Кругом дома обошел.

Поглядел в окно — мать сидит. Сам себе сказал: «Ну, душа окаянная, насмотрелась? Теперь иди на место». Так ей и не показался, обратно в монастырь пошел.

А после матери говорят: «Серафим у тебя был?» — «Да где, — говорит, — я не видела». — «Приходил, — говорят, — многие видели, как шел». Как сейчас его вижу. Голосок тоненький: «Паки и паки миром Господу помолимся...» Да... А еще весной у нас корье драли с ивушек. И я сама по десять пудов надирала. Сорок копеек пуд было корье-то. Бывало, надерешь пучок и идешь вдоль деревни, чтобы в деревне-то видели, что я корье несу. Бывало, волокнешься: «Ой, Санька, где ты такого корья-то надрала? Да больно у тебя долгое корье-то». Это они нарочно. Бабы-то.

Высохнет оно, Тятя свяжет, и поедем мы до Иванова дня в Вологду. И на деньги эти платье мне купим и башмаки. Аннушке на кофту и Маше на кофту. Это на корье-то. А нас маленьких тогда оставляли караулить лошадей. Иванко сидит, и я на своей. А они там покупают ходят. И вот Тятя круг черкасской колбасы принес. А я и не видела, что он принес. А он и положил ее в корзину-то. А внизу крендели еще лежат. А я как заглянула в корзину, так и обомлела — я ведь ее никогда и не видела. «Ой, — говорю, — пыга-носопыга, деревенская мотыга, что наделал-то... чего-то мертвенное от лошади принес». Это я на соседа, на Иванку подумала. «Ой, — думаю, — Тятя придет, заругается, скажет, прозевала». Я скорее палочкой ее подцепила и — шарах в крапиву. «Не скажу, — думаю, — ничего. И крендели есть не буду — опоганены».

Тятя приходит, все уложил: «Ну, поедемте». Поехали. Езды от Вологды до нас сорок пять километров, верст. Ездили в один день — лошади хорошие были. Обратно на порожне.

Приехали, стали все в дом носить. Тятя говорит: «Мать, я купил черкасской колбасы». — «Да где?» — «Да в корзине». — «Да нету, батька». — «Да куды же девалась?» А я молчу, я ведь и не знаю, что за колбаса. Искали — нету. Сели за стол чай пить. Галинка кричит «Разделить крендели, а то все расхватают». — «Больше твоего никто не схватит, сиди!» — «А мне, — говорю, — так и не надо крендели». — «А почему не надо?» — «Не надо, да и все. Не буду я есть крендели».

Тятя говорит: «Что это с тобой?» Я и заревела: «Пыга-носопыга, деревенская мотыга крендели опоганил». — «Как же он опоганил? Чем?» — «Да он чего-то мертвенное от лошади положил. На крендели. Я не буду есть». — «Какое мертвенное? Да где это?» — «Да я в крапиву там, в Вологде, бросила». Тятя говорит: «Так вот где наша-то колбаса». И жалко-то, и смеются-то. Вот тебе и колбаса-то... Отпахали, посеялись, и начинается у нас сенокос. Тут утром рано будили, в два часа. Тятя встает, косы бьет: «Вставайте косить!» Встанем, неохота... Я к лавке встану на коленках, пока косы бьет, я еще дремлю маленько. Идем косить. Мама дома остается одна, обряжается, стряпает. Обрядится, и она идет, а я уже домой к ребятишкам пойду...

В восемь часов идут завтракать. Поехали опять косить, сено сушить. У нас хорошо сено сушили — разобьют, повернут раз. Потом в копны, с обеда возить в овин. В овине на другой день растрясает. Опять ворочают. Овин у нас большой был. А тут уж и ягоды пойдут — земляника, голубица Ягоды у нас рядом — километр. Тятя скажет: «Голован, бегите-ка наберите голубицы». Нас вдвоем и отпустят с Галиной на болото. Наберем больше ведра — пироги печь с голубицей. Петров пост. У нас ягод-то много было. Черника, малина, морошка, брусника.

Малину-то у нас сушили, а бруснику парили. Наложат целый ушат и запарят его, крышкой накроют. А самую последнюю бруснику — мы уже перед Покровом ходили — Мама горячим суслем заливала. Эту бруснику с мучниками есть, а ту — с блинами. Я по эти ягоды не больно ходила. Я ходила по полянику. Я поляники немного наберу — фунта четыре. И иду к отцу протоиерею. Несу. Матушка скажет: «Санюшка пришла. Батюшка, отец протоиерей,

погляди-ка, чего она принесла!» И он безо всяких подает мне полтинник. Вот я больше всех сестер и заработала. Поляника коричневая, вот такая крупная. А запах! От одной ягоды по всему дому. И никто не знал места, где она растет. Это Тятя меня свел, показал место. Я все одна ходила, никому не показывала. А сестры все узнать хотели. Скажут: «Санька, утром пойдешь по ягоды?» А я: «Да не знаю, у меня что-то голова болит». А утром они еще спят, еще темно, а я убегу в лес... Кончится сенокос, уже и рожь поспеваает. Надо жать. Жали серпами. Свяжем, поставим суслонами. В суслоне — двадцать два снопа. Ой, жать я любила. В десять лет начала. «Много ли, Николай Ипполитыч, нажали?» — спрашивает бабушка Синклития. «Много, слава Тебе Господи, — Тятя скажет, — пятнадцать суслонов. Да Санька суслон». А мой суслон особенный.

У меня снопы-то вон какие длинные... Да руку обрезала. Десять-то лет... Пойду по деревне жать-то, чтобы все видели, что я жать пошла. В одной рубашке, жали ведь без сарафанов. Воротушка ситцевая, розовая, вот по это место серпинка пришита. Серп в руке — чтобы все видели. Бабыто: «Бог помощь! Ой, ты жать пошла?» — «Да, жать». — «Ой, жать пошла Санька». А потом-то я по десять суслонов жала. А на Ильин день в нашей деревне праздник. Называется богомолье. У нас в деревне накануне Ильина дня мужики на сход приходят, собирают денежки.

Соберут, пойдут за вечерню. Заказывают-то все, чтобы завтра крестный ход, молебен. И вот утром, после обедни, — крестный ход по всем нашим полям. Потом водосвятный молебен. Вот где нынче будет озимое поле, на этом поле водосвятие приготовят. А потом, было, по очереди угощали священство. А после Ильина дня пора озимое пахать да сеять. Это — на паренине.

Тут третий раз ее и пашут и сеют. Между первым Спасом и Преображением. Тут самое время.

Горсть возьмут, три шага шагают, потом опять горсть. А после Преображенья — горсть возьмут и только два шага шагают. А уж после Успенья кто сеет, то, говорят, нарастут только Флоры да Лавры... Тут уж как шаг, так горсть, как шаг, так горсть. Не каждое зерно всходит. Как озимое посеем, а я бороню, я девяти лет боронить поехала на молодой лошади. Тятя скажет: «Голован у нас косить не будет больше. Она будет в лес ходить». Я уж в лес хожу. Утром они еще не завтракали, уж я принесу грибов на жаренину. Маслянок. У нас маслянок много было. Я знала места. Еще мне девять годов, уж я все места знала. Грибовые и ягодные. Меня Тятя везде выводил. Я уж ношу грибы. Рыжики. На Успенье уж у нас насолено два ведра одних рыжиков. А осенью у нас по грибы на лошади ездили. Километров пять едем на лошади. Поставят на телегу два плетня, кадку. Там наберем все целое. Это солить, много солили. А сушить — за этим не ездили, эти дома наносим. У нас недалеко грибы, не ленись только... Много и сушили. Грибы все едим, ведь вон сколько постных дней в году. В Иванов день — на Рождество Предтечи — еще у нас грибы соленые старые. Раньше ведь не воровали, картошка-то у всей деревни хранилась в поле. У кого там яма, у кого — две. Песчаная горюшка называлась, песок один. Яма досками обставлена, чтобы не осыпалась. А другая у нас яма чистая — хорошо обделанная.

Как последнюю картошку оттуда выгребут, туда кадку и свезут соленых грибов. В эту яму. Вот и ходим. Как суббота, так и пойдем с ведром туда. Это весной и летом. А зимой дома стоят грибы... По грибы идем, Тятя скажет. «Старайтесь, ведь это даровое мясо — лесное. И век с ним будете жить. Может ведь, мяса-то не будет». А Галина: «Вон все мясо едят, а у нас не будет...» А дожились, так не только что мяса, а ничего не стало. Голодовка какая была сколько раз... И вот пойдем по первые-то грибы. Тятя скажет: «Не жалеите! Как кто придет, давайте первых-то грибов, потчуйте. Будете больше брать, так жалеть не будете».

И еще. Тятя скажет: «Запасайте. Чтобы зимой не бегать по деревне с чашками — положи грибов», — терпеть он не мог этих чашечников. Озимое посеем, а в овин все возят яровое —

овес, ячмень, да и рожь еще — у нас по триста суслонов. Ночью сушат, а днем молотят. Выстелим снопы во все гумно, так и проходим все в четыре молотила. Потом перевернем снопы, опять молотим. Надо чтобы ударять врозь — такая гармония получалась... Послушаешь по деревне — там молотят, здесь — очень красиво, прямо как музыка. Я с тринадцати годов молотила. А вечером-то поглядишь, все овины топятся. У кого печка там, у кого яма. А к Тяте под овин вечером сидеть мужиков пять подойдут. Ближние соседи. Сидят, разговаривают. Тут картошку свежую варят — нет вкусней картошки, как из-под овина. А свежие грибы мало еще у кого есть... Подойдет, бывало, тетка Аполлиария: «Николай Ипполитыч, у вас поди грибы есть?» — «Да вон Санька чего-то таскает.

Не знаю, спроси там у матери. Я ведь в чашках не распоряжаюсь».

Я бегу к Маме: «Тетка Аполлиария спрашивает у Тяти, нет ли грибов?» — «Ладно, — Мама скажет, — сами наносят...» А уж чашку ей накладывает. Всем хватало. И сами ели. Ведь трапеза была ангельская, истинно ангельская. Бывало, несем на стол скатерку, ложки все в ней.

Помолились.

Тятя скажет «Ну, садитесь». И локтя на стол никто не поставит. Тятя не даст — столкнет: «Ты что? Где сидишь? Стол — что Престол!» Утром встаем: «А ну-ка, вымой харю-то! Перекрестись! Богу помолись, а уж потом есть проси». Он еще пешком под стол ходит, а уж Богу молится. И все благословенное, все с молитвой. Ели ведь все свое. Постный день. Мама сварит глей с грибами. Чугун изрядный, больше полведра. Картошки нажарит на льняном масле — свое было. Блинов напекет. Утром к завтраку. Пекет в две сковороды. Сделает икру грибковую из сухих, а то и из соленых грибов. На обед капусты с квасом накрошит, картошки.

Там репы пареной покрошат. Это холодное. Потом щи с грибами. А еще — горох, то какойнибудь суп.

Гороховый кисель. Подадут на тарелках. А в скромный день так мясо. Тоже холодное с квасом.

Мяса накрошат, картошки, все с квасом. Квас у нас все время хороший был.

Дробины-то много было. Это что остается из-под сусла, когда пиво варят. Мама соберет ее, испечет караваем. А потом из нее квас делают, каждую неделю. Квасник у нас больше двух ведер был.

Хлебы Мама пекла через день. День пироги, день хлебы. Семья большая была. Печет три-четыре каравая. На поду. У нас вся семья любили подовый хлеб, в плосках не любили. А пироги — как молочный день, так молочные. С картошкой, нажмут сметаной сверху. А в постный день печет с грибами солеными — губники зовут. А то мучники. Это ячменную муку обдирают на мельнице.

Она белая, как пшеничная. Творят их на дрожжах. Постом, так на воде, а то и на молоке пекут. Печка топится, я тут ржаные сочни сучат. Тонкие пресные лепешки из ржаной муки. С тарелку.

Разложат их по противням. Эти сочни... И вот это ячневое тесто сверху раскладывают. Крайчики загибают. Вот и пекут. Молочный день, так сметаной намажут люто, чтоб уж они зажарились, были румяные. Вот и едим... Были торканцы. Это как снегу свежего, чистого навалит. Так бегут, накладывают целую крынку, насеют муки гороховой, насыпят и торкают — воду тут не льют, только снег да мука. Посолят и опять торкают. И до того доторкают, что уж уходит будет оно, как с дрожжами. Вот тогда и пекут их во всю сковороду. На масле. Хорошие, мягкие, вкусные... А блины Мама пекла каждый день. Надоедят. Мы с Галиной на

полатях лежим: «Санька, погляди, там чего у печи чудится?» — «Да блины опять пекут». — «Тише! А то сейчас позовут блины-то есть. Молчи!» — «Эй, — Мама кричит, — марш блины есть, пока теплые. Слезайте!» — «Я говорила, что молчи!» Слезем. Возьму я блин, подсолю. Да маслом льняным помажу.

У нас лен-то сеяли только что на масло. На все посты. У нас лен снопами считали, не грудями. Мама скажет: «Пятьсот снопов нынче льну». — «Ой, как и много, Пелягея Автономовна». — «Да вот надо столешников выткать. (У нас ведь не обедают без скатерки, за грех считалось.) Да надо и ручников выткать». Лен у нас вытеребят, на гумне постилают его, как он высох, идут двое и кичигами — это как валец, только долгий — колотят его. Повернут, опять колотят, вытрясают.

Потом провеют семя. И перед постом на маслобойню надо ехать. Повезут с полмешка, да и будет масла с полведра, да и более. Масло такое, что и сливочного не надо. И это перед каждым постом. Постом-то молочное не ели. Грибы, огурцы, капуста, квас, брусника... А то Тятя скажет «Надоело это все. Голован, бегите-ка в лавку к Мише Антонову, возьмите гольца соленого. Да не резал бы, целого бы вам вешал». (У нас в деревне двое торговали — Михаиле Антонов и Димитрий Гребнев.) Принесем гольца. Вымоют его теплой водой. Сейчас самовар.

Нарежут его кусками, а он толстущий. Ошпарят. Закроют. Вот садимся. Тятя скажет: «Вот вроде бы маленько и отошло». Бывало говорил: «Это разве у нас пост? Только так — перемена пищи».

Мясо у нас свое круглый год. Еще и не приедали. На Ильин день уже колют свежего. У нас все по четыре да по три коровы Тятя держал. Если три коровы, то подтелок пущен. Телушка. Одна корова для себя, Тятя скажет: «От пестрой коровы молоко не носите»... А так молоко носили на сыроварню, 45 копеек пуд. Сыроварня была тут же в деревне. Куры свои были, яйца. Свиной Тятя не держал.

У нас вся семья свинину не ели. А овец держал. Три матки всякий год были. И два раза в год они ягнились. Баран свой. А лошадь у нас была первая из прихода. Ваганко звали. Как у нас его отобрали, я думала, я по нему с ума сойду. Двор у нас был большой — два хлева на этой стороне, а по эту сторону подвал, подполье. А на середке ясли стояли. У нас навоз увозить, так не надо телегу закидывать, кругом яслей можно объехать. Двор большой, новый. А к зиме скотину надо прибирать. Ведь не будешь ее кормить столько. Трех теляток да ягнят заколют.

Семья большая. А то, бывает, и такое дело. Тятя скажет: «Надо корову эту сменить нынче». А уж есть телушка полуторница. Вот и корову заколют. Мясо солят. Вот какую кадку насолят.

Холодильников раньше не было. Берется кусок мяса, солью обшаркивается. Я видела, как Мама солит мясо. Солью каждый кусок обшаркивает и кладет в кадку. А постом великим его вялили, что осталось. Положат на противни и в печку. Соленое-то. А летом варят его, вяленое. Мясо ели, как репу пареную. А с Рождества Богородицы ребятишки в школу шли. Я семи годов пошла...

Тогда с девяти годов ходили, а тут отец протоиерей пришел ко мне: идти и все!

Мама говорит: «Да семь годов ей». А он: «И хорошо, что семь годов. Пускай идет учиться». Школа у нас была приходская, при церкви. Сначала буквы нам показывали, потом учили читать да считать. Потом закон Божий стали учить, два урока были в неделю закон Божий. Славянский язык, русский язык. Я закон Божий хорошо отвечала, я и читать, и считать... Вот только писать... Учительница Зинаида Владимировна все говорила, у меня не чистописание, а грязномарание. А псаломщик Димитрий Васильевич учил нас петь. Ходила я в школу только полторы зимы. До Рождества вторая зима у меня была. Больше меня Мама не отпустила.

Отец протоиерей больно жалел меня: «С таким понятием будем на учительницу Саньку учить». А Мама: «Не в солдаты идти! Нечего тут. Садись кружева плести». И с маленькими водиться надо было. У Мама как два года, так и ребенок. Тогда ведь не канителились, декретов никаких не было. Помню, возили навоз. Мама приехала с поля на пустой телеге, да и говорит: «Батька, я уж больше сейчас не поеду. Мне, — говорит, — и некогда». — «Ладно, — говорит, — я и сам свезу». А она: «Девчонки, пейте чай-то в коридоре. Там, — говорит, — пейте. Не жарко и мух нет». Ладно. Мы собираем там стол. А она взяла чашку чайную, да и побежала. «Мама, ты куда?» — «К бабушке Олимпиаде. Надо мне дрожжей». — «Так вот у нас-то...» — «Так у нас худые». Сбегала туда, идет опять, чашку под полой несет. Смотрим, и бабушка Олимпиада бежит. Идут в избу. А мы в коридоре уж чай пьем.

Знаем, сейчас Тятя приедет — последнюю телегу навоза повез. А Мама с бабушкой Олимпиадой уж залезли в печку. Нагрела ее в печи, вылезают оттуда. Вдруг слышим, в избе ребенок заревел. Все... Вот как раньше рожали, а не эдак. До конца работали. А то, помню, сено косили. Мама говорит мне и Галине: «Девчонки, я завтрак понесла» Туда носили — на покос.

«Я, — говорит, — скоро вернусь. Я сегодня не буду косить. А вы тут растрясите сено. Которое уж привезли». — «Ладно, — говорим, — растрясем». Растрясли мы с Галиной. А Мама все не идет еще. Потом и катят оба с Тятей. И ребенка тащат. «Вот, нашли паренька». — «Оттого и проканителились». — «Под сосной лежал». — «Взяли, нам понравился». А мы и верим.

Иванушко... Так уж мы его и звали — «Иванушко подсосновый». Осенью у нас хлеб собирает староста магазинный. Был выбран он. «Давайте, собирайте хлеб на магазю». Там сколько кого обложат. Вот и везут в магазю хлеб. В поле стоит большой амбар. Большой, большой амбар. В эту магазю и свозят хлеб. Весной там не хватает у многих хлеба. Вот и будут делить из магазю, у кого не хватает. Им и делят. И на семена, да и есть нечего. У нас в деревне, так у многих не хватало. Она в поле, магазю, там место высокое, вокруг нее лавки сделаны. Вот летом тут гуляния. Тут повадно, тут все и играли. Место высокое, хорошее. Из Корытова придут, и из Алексеева явятся. «К магазю пойдете гулять». А по ночам не гуляли, нет. Как коровы домой, все по домам — марш. К Покрову у нас все сделают, все обмолят, все уберут.

Бабы тут кружева плести начинают, а мужики в лес дрова заготавливать. Тут и праздник наш престольный — Параскавья, двадцать восьмого октября... Мама скажет: «Надо постели вымыть».

Вытрясем постели, старую солому. Вымоем. Они тканые были... Опять набиваем свежей овсяной соломой, она помягче. И спим Говорили: перина с первого овина, каждая путина не меньше аршина.

Спали-то все на полу, ну, а кто на полатах, я все на печке. Утром встали, Тятя скажет: «Убирайте постели». Несем их на волю. А вечером обратно несем, да такие-то холодные... И ничего, не простужались. А на Параскеву, на праздник, у нас человек сорок гостей. У нас родни-то много.

Из Дубников приедут, из Коренева. Гостят до четвертого дня. Мама спросит «Батька, много ли ныне будем ставить пива?» — «Пять горшков», — скажет. А горшки — по два ведра горшок. У горшка у этого повыше дна дырка провернута, ее тут затыкают деревянным гвоздиком...

Заваривают вот так — шесть фунтов муки ржаной, шесть фунтов солода на один горшок. И чашу полотицы — шелуха с овса — на каждый горшок. И заваривают кипятком в кадке, в горшок льют ковшиком, а в горшок кладут крестовины деревянные, а на нее камешок... и жгут соломы, туда, к гвоздику, чтобы не забило течь... Потом печку топят жарко и ставят туда горшки. Часика через два поглядят — кипят ли они? Если повыкипело, доливают кипятком...

Вот и стоят в печи до вечера А вечером стол большой, на стол тащат желоб — широкая доска и желобок.

И эти горшки ставят на доску — горшок за горшком. А под один конец подкладывают и начинают вынимать гвоздики — горшок за горшком, и течет оно в кадку, сладкое, хорошее...

Стынет это на воле, чтобы хорошо выстудить. И еще нацедят маленький ушат сусла — это нам, детям. Нам пива-то не давали... И разводят приголовок — кладут сусла теплого, хмель, дрожжей, муки — начинает этот приголовок ходить... Хорошо ходит. А утром приносят это остывшее пиво, кладут туда хмель и приголовок пускают. Так оно у дверей и ходит, чтобы не очень тепло было.

Выходит, начинают хмель отжимать и цедят в бочку. Налиют в бочку-то, а она стоит и все шевелится, пиво-то ее шевелит... И уже готово. Гости приезжают первый день к обеду. Сначала чай. Закуски подают. Первую очередь подают кулебяки. Это с рыбой называется кулебяка. Тятя поднесет им по рюмке. Рюмками пили-то, не стаканами. Пива ендова. Попьют чай, потом обед.

Студень с квасом — первое блюдо. Второе блюдо — щи мясные с мясом. Третье блюдо — лапша с мясом. Четвертое блюдо — сальник. Это из овсяной крупы каша крутая, и она когда с маслом со сливочным, когда с салом. Тут пива ендову на стол — были такие большие, медные — и вина. Тятя несет бутылку. Наливает пива по стакану, по рюмке вина. Садятся, пьютвыпивают, сначала не больно отважно... А мы с сестрой на полати забираемся и лежим поглядываем. Они уж начинают тароваться, отважнее уж гости... Тятиня рюмка коричневая, он нальет ее, она у него и стоит: «Ну, давайте выпивайте, ребята, выпивайте!» — «А ты?» А он: «Я на чужом месте не выпиваю». А сам пойдет на свое, да и поставит ее. Он с этой рюмкой всех гостей угостит. Бутылки три выпьют в первый вечер. «Вы пиво-то, пиво-то выпивайте». Пиво он хорошее варил — настоящий был пивовар... И так сидят часов до девяти. У нас праздник — пироги со стола не убираются, чтобы все на столе тарелка была с пирогами. До этих гостей еще нищие придут — человек семь-восемь, их накормят обедом. А потом песни запевают — «Зачем ты, безумная, губишь», «Уродилась я, как в поле былинка», «Сама я розоньку садила», «Вьется сокол над осокой» — много они пели песен. А вот песню «Пускай могила меня накажет» — эту мы с Галиной подпевали... Вот еще помню: «Скажи, краса моя, Анюта, скажи, в кого ты рождена? Вся краса моя, мамаша, двенадцать лет, как померла». «Ланцова» пели.

Вот я любила, как «Ланцова» пели. Потом эту песню воспретили петь. Как он из тюрьмы убежал, как в тюрьме сидел. Потом еще такую пели: «Держу саблю на весу, царю голову снесу». Как брат спас брата своего... Еще была песня — «Сидели две голубки, одна против другой...». Эту Мама у нас любила. Она у нас песельница. Голосу — с воз. Она еще когда в девках была, у барина жила, петь больно любила. Их там, молодых-то, четыре было. Бывало, обрядятся, выйдут в сад, на скамеечке сядут. Сам барин подойдет: «Ну, запевайте». Они и поют. Тут и сама барыня выйдет...

Тогда ведь жизнь мирная была. Я ведь все помню. Я и хорошую жизнь помню, как при царе жили. Как сахар был восемь копеек фунт, как хлеб был сорок копеек пуд... Да... А гости у нас ночевали — все ночуют. Тяти двоюродные братьовья, шесть человек, все родня. На полу им постеляют, на полатях — у нас печь большая, еще и нищих пустят. Изба у нас большая была. На второй день, они еще спят, Мама обрядится, из печки пироги достает горячие, самовар... Садятся завтракать, опохмеляться. Но таких пьяных, чтоб валялись, таких у нас не было.

Тятя купит полтора ведра вина, оно с пивом и хватит на весь праздник. До упаду-то не пьют.

На второй день сходят, пройдут вдоль деревни — что там делается — деревня у нас большая, сто домов. Потом вернутся, опять за стол. А на четвертый день домой

отправляются. Чай попьют, Мама даст по пирогу всем — гостинцы... и отправляются. А ведь у нас в деревне поначалу-то и самоваров не было. Чаю не пили. Я еще помню, пили осолодку. Сладкие такие коренья. Накладут целый чугунок и ставят в печку. Оно накинется, потом так на шестке и стоит. Пили осолодку и горячую, и холодную. А потом уже самовары пошли, чай. Сначала всего четыре самовара в деревне было — только у богатых. Тогда и часов не было. Помню, девке одной, богачи были страшные, часы купили. Часы-то она носит, а как смотреть, не понимает.

А к ней парни подходят нарочно: «Барышня, который час?» А она поглядит на часы: «Скоро коровы придут». А зимой у нас кружева все плели — и парни до пятнадцати лет, и бабы, и ребятишки. У нас дома и игрушек никаких не было. Была только одна кукла — Агаша Ломоносая. Мне было года четыре, пришел к нам дядя Алексей, Тятиной сестры муж. Он плотник был хороший. Взял полено: «Я вам, — говорит, — сейчас сделаю куклу». И вырезал просто хорошо. Так — наперехват — как платье на ней вырезал. Голова... А нос-то деревянный у нее быстро отломился. Вот мы ее и назвали — Агаша Ломоносая. У нас в деревне портниха такая была — Агаша с проваленным носом... В семь лет меня уже кружева плести учили. а ведь лень, неохота.

Тятя говорит: «Пять мысков — вот столько — выплетишь, так копейка тебе на семянки». Вот и стараешься. Сначала тихо плетишь-то. Выплетишь десяток, это десяток аршин, да никуда он негодный. Только люльку привязывать, чтобы качать... А потом уж плетишь хорошо. Нитки готовые, не покупаем ведь.

Мама ездит к Бахвалову, привезет две пачки ниток. А платит он только за работу.

Сорок копеек за десяток. Это за узкие, а пошире — эти дороже — рубль десяток. Рубль двадцать — первый сорт. А эти сорок копеек. А узоры разные — «колодчик», «речка»... Бахвалов с нитками и бумажки выдает, таких вот больше плетите. Там нарисовано... Он в Филине жил, в деревне, три версты от нас. Мы на него десять годов плели. Мама поедет через две недели — короб кружев повезет. Восемь десятков. А оттуда везет короб ситцу. А булавки в кружевах, как иголки такие.

А головочки на них красивые — янтарные, голубые там — всякие. А то еще уточки.

Булавка побольше, а на ней аккурат утка сделана — белая, крылышки зеленые или голубые...

Эта булавка больше этих. А у меня не было такой уточки-то. А было мне годов уж десять... А через дом у меня товарка жила. А у нее не одна утка в кружевах-то. Я и взяла потихоньку ее, да и домой. Мне уж не забыть. Мне уж восемьдесят четвертый год — не забыть мне эту утку. Домой пришла, так мне не терпится. Беру кружева, сажусь плести. А было воскресенье. А у нас в воскресенье кружева не плели. Мама: «Ты что это вздумала кружева плести?» — «Да мне захотелось». Она подошла, а у меня — утка. «Это где же ты взяла?» — «Да вот шла от Пановых-то, на дороге нашла». Это в снегу-то... Она, ничего не говоря, пошла, взяла ветвину березовую, кружева оставляет, погибает мне... И давай лупить. «Иди, где взяла утку». Да это-то ладно, что иди. «Пойди да скажи: „Я у вас утку украду“». Вот это-то хуже битья. И так пока я шла к Панковым, все сзади шла да меня хлестала. Тетка Анна говорит: «Ты что же это, кума, эдак?» — «А вот больше не возьмет. Узнает, как воровать»...

У Тяти много книг было — божественные, «Земная путь Спасителя», «Потерянный и возвращенный рай». Вот такой короб — все книги.

Зимой мужики чуть не каждый день идут: «Дяденька Николай, почитаешь?» — «Да почитаю, приходите». А у нас изба-то большая была, не стулья тогда — лавки. На пол все сядут, ноги протянут кругом. Целая изба. Тятя читает... Его у нас все любили. И старше-то его которые, все зовут «дяденька Николай». Вот пойдет он зимой по воду. У нас для скотины колодец под

окошком, а на чай да на похлебку брали через дорогу. А девки большие у нас под окошком, всё под окошком у нас притон. Вот Тятя пойдет по воду, а они его и схватят — валить.

«Давайте его в снегу накатаем!» А он — вон какой дядя был — свалишь его. Он как начнет их откидывать, так я те дам, — всех перевалает. А Мама у нас никогда и не ревновала. А с Покрова у нас уж беседы, посидинки идут. Ходят поочередно в те дома, где девки есть. Где прошлый год кончили, теперь с тебя начнут, со следующего дома. Каждый вечер беседа. Девки кружева плетут, а парни на беседе кружева не плетут. Если только стельки стегают для валенок. На полу лежат и стельку стегают. А девки на лавках сидят и кружева плетут. Ой, что ты, у нас люто плели кружева.

Девки тут свои, а парни приходят и из чужих деревень. Приходят: «Девки, закрывайте кружева! А то обрежем коклюшки!» Ну, разве дадим обрезать коклюшки. Одну «заеньку» сыграют — и снова садятся плести. Тут «кадрель» зовется, а у нас — «заенька». А которую девку не берут, не выбирают на «заеньку», так говорят, весь вечер светила сидела. Ведь раньше девки не плясали, раньше было позор девкам плясать. Парни плясали, девки — нет. Только сыграют «кадрель» и на места. И так идут беседы от Покрова до самого Поста Великого. А в заговенье на Филиппов пост уж парни невест приглядывали, кому жениться надо, девок. С Николы приглядывали. На лошадях парни приедут. А после Святков свадьбы.

Как Пасха поздняя, так говорят: «Межговенье большое, девок много замуж выйдет». Последнее венчание в воскресенье на масленицу. После обедни сразу. А уж тут не будут венчать. Дома Тятя скажет: «Мать, нынче заговенье. Не забудь — вон Марфу Шантариху, дедушку Алексия...» — «Не забуду». Наварят щей мясных, мяса.

Вечером понесем тетке Марфе, дедушке Алексию и бабушке Катерине. Щей мясных снесем.

«Да, милая, нам принесли уже». — «Я не знаю, послала Мама. Возьмите, пожалуйста»... А масленица у нас начинается со среды. Чаю попьем, Тятя скажет: «Ну, я пойду к дяде. (У него дядя в нашей деревне.) Схожу к дяде, чем там пахнет, схожу узнаю». Ушел. Девять часов — нет.

«Ну, — мама говорит, — батька застрял. Надо пироги творить». Начинает пироги творить. Тятя является уж в первом часу. «Мать, пирогов твори». — «Да растворила уж». А утром только обрядился, уж и идут. Дядя Алексей — тетка Анна не ходила, брат с сестрицей Марьей идут к нам, сын и сноха. Садятся за стол. «А что, ядри голова, — Тятя скажет, — неповадно, мало. Сходите-ка за Евгением». Дядя Евгений. «Ну, позови Федора Ермилыча». Их позовем.

Наберется уж стол как положено. Тут все до самого понедельника, все по очереди друг к дружке и ходят. Мы заберемся с Галинкой на полати. Сидят, Тятя нальет им по стакану пива, по рюмке — не пили ведь вино стаканами. Мы не видывали Тятю пьяного. А накануне пятницы — субботу, воскресенье — три дня ездят кататься. Тятя скажет: «Ну, девки, обихаживайте сани».

Спустит сани. Мы их вымоем, маслом вышаркаем гарным, чтобы светлые были. «Ну, а сбрую?» И сбрую вычистим. Пуговицы все. В пятницу скажет: «Ну, поезжайте кататься». В пятницу в Филино, в субботу в Василево, а в воскресенье в Карповское. Поочередно ездили кататься. А в воскресенье масленицу жгли. У нас посреди деревни пруд — некопаный, озеро. В середку пруда таскают, всего натаскают — лому всякого, корзины старые, доски... вот это накладывают. А в середине жердь в лед воткнута, замерзла уже... Доверху накладывают. Зажгут все, как и пожар. Ну, в середке пруда, так никакой страсти нет. Это масленицу жгут. Кричат «Молоко горит! Молоко горит! Молоко горит! Девчонки, молоко горит! До пасхи не будет молока! Теперь молоко будет плохое». А в понедельник (чистый) на ефимоны. Ой, народу... У нас церковь-то собор большой.

И целый собор на ефимоны. Все мужчины. С четырех часов. Ефимоны все четыре дня.

А в среду да в пятницу — обедни, их часы у нас называли. «К часам-то пойдете?» — «Пойдем». — «Пойдемте к часам». Первая неделя поста — школьники исповедуются. Школьники со всех школ — с Василева, с Алексеева церковная наша школа. На второй неделе исповедуются молодухи. Годов тридцати. На третьей неделе — молодежь — девки, ребята. В пятницу исповедь делали вечером. Бывает, в девять часов вечера от исповеди идут домой.

Все исповедуются, очередь. Всё по одному человеку исповедуют, не было общей-то исповеди. А отец Протоиерей детушек, школьников, этих по пять человек исповедовал. Придут, бывало: «Ну, что батюшка спрашивал?» Батюшка спрашивал: репку не воровали ли, горох чужой не ходили ли... А я-то — ходила... Ох, службу я любила. Я с семи годов ни одной службы в церкви не пропускала. Тятя с вечера спросит: «Кто пойдет в церковь к утрене?» — «Я пойду». — «Голован-то я знаю, что пойдет. Тебя не спрашиваю». Он меня утром до церковного поля всегда провожал. У нас волков было много — стаями ходили. Так я весь пост среду и пятницу выхожу.

У нас и вся деревня очень верующие были. В церковь все ходили, и мужики... В праздники, в воскресенье, как река течет. И мужики, и бабы. Справа это был — мужской придел.

Александра Невского. Тут все одни мужики стоят, целый придел и возле. А слева — бабий придел. И все целая церковь народу. А перед Пасхой у нас всю избу перемывают. На вербное воскресенье.

Потолок, стены, все... Сначала песком натрут, потом водой да мылом. Изба желтаяжелтая. А воздух какой! Тут маленькую железную печку вытаскивают, рамы выставляют. И тут Тятя развешивает по стенам картинки. У нас картинок много. Тятя любил картинки покупать. Все больше богородичные, с икон.

Помню, Козельская Божия Матерь... Млекопитательница... Скоропослушница... Запечная — он все покупал. Варвары великомученицы тут житие, Георгия Победоносца... Это большие картины у нас были. Исцелителя Пантелеймона... У нас, бывало, придет Евгения-слепушка, принесет картинки. «Ну, дядя Николай, будешь покупать?» — «Буду, буду, погоди, вот у меня еще такой нет. Надо вот эту купить». Евгения эта, старая девица она была. Слепая, ей мачеха глаза выжгла табаком нюхательным. Так она и жила, ее кормили. И по монастырям она ходила, и в Заоникову пустынь, и в Прилуки... Павлов монастырь, Обноры — везде она была. И на клиросе пела. Вот она картинки и носила. Тятя, бывало, всю избу на Пасху картинками завесит. И висят они до Троицы. А от Рождества висят до Крещения. У нас и иконы хорошие были. Семистрельная Божия Матерь, Георгий Победоносец, Спаситель, Смоленская...

А потом медные, старые. Два креста медные. У нас кивота была сделана. В деревне у всех кивоты были. У нас боженка звали. И в избе, где иконы, у нас табак не курили.

Тятя и сам курил, но в избе никому не даст. Укажет на боженку: «У меня йот, видите?» На Страстной у нас мужики говели. Но до четверга еще все работали. У нас если Тятя в четверг исповедуется, так мы все в среду выпаримся. В печке. У нас все в печке парились. Пойдет он за соломой в гуменник — и печку овсяную солому подстилают, как парятся. Вот пойдет он за соломой: «Ой, девчонки, как я сейчас чего видел!» — «Чет, тятя?» — «А вот видел, сидит кукушка на гуменнике, и весь нос в молоке. Так и текёт. Завтра уж на сарай прилетит». А сарай у нас ближе гуменника. А мы верим, я побегу к Панковым. «Девки, у нас кукушка уж на сарае». — «И мы поглядим, может, у нас тоже, поглядим». — «Вот и сходите». В великий четверг и в субботу приобщаются только мужики. Мужики говели. А на ночь уже все пойдём к заутрене.

Мама обряжается, готовит всего — и мясо тут, и студень, — придет к обедне. А мы с Тятей идем к заутрене. Отстоим заутреню, обедню. Придем, еще темно. Гостинцев нам принесет Тятя.

Пряников, конфет. А мне грушевого квасу. Я сроду невредная. Мне пряников да конфег не надо.

Возьмет с собой ручонку такую деревянную с крышечкой: «Надо, — скажет, — Головану купить грушевого квасу». Вот приходим из церкви и разговляемся. Сначала освященное яичко. Три яичка на всех разрежут. Всем подадут разговеться яичком. И тут уж все разговляются. Творогуто кадка за пост накопилась, творогу много — четыре коровы. В церковь три дня ходят в Пасху.

И все крестный ход во все три дня. На третий день у нас крестный ход кругом ограды — у нас Иверская Божия Мать. А потом духовенство по всему приходу с иконами ходили, Христа славили. И вот в который день к нам в деревню с иконами придут, тут и гости приедут, вся родня. Ну, и нищие тут, конечно, Тятя ведь всех пускал.

Сестры мне говорят: «Господи, и в праздник-то такой покою нет. Гостей столько, а тут еще и нищие. Хоть бы ты, Санька, сказала тятю». А я и бухнула отцу: «Вот и в Пасху-то все нищие. Хоть бы в праздник дали отдохнуть». А Тятя взглянул на меня, да и потихоньку так говорит: «Жидка у меня подпора-то...

Ой, смотри, сама не наприсись ночевать». А у нас в деревне мало кто пускали нищих ночевать.

Так, кусок подадут, а ночевать не пустят. А Тятя всех пускал. У нас и цыгане ночевали. И не воровали ничего никогда. Было раз, я шла, смотрю, а нищий забрел в наш гуменник и овес щекотит себе в мешок. Я пошла Тятю и сказала. А он: «Ну и чего там. Много ли он ошелушит? Поди два снопа, не больше. У нас не убудет. Не обедняем». Было, татары по миру ездили на лошадях, бедные.

Тоже у нас ночевали. Был у нас дедушка Митрий нищий. Об ем даже ругались. Вот он к нам пришел. Выпарился в печке, Мама ему собрала — он болел. Вот и лежи, дедушка. А Алексей Иванович, покойник, Серов, он вот как Тятя, все с нищими. Наши-то уехали, я не знаю, куда они уехали, а Алексей Иванович пришел да и увел дедушку Митрия к себе. Ой, Тятя пришел — расстроился. Что же это? А потом помирились они: «Полно, вместе будем хоронить».

Вместе с Алексеем Ивановичем и хоронили, верно, что вместе. Ну, ведь не такие похороны, как теперь, что надо вина ящики... У нас как ночуют, все в печке парятся. Старухи приходят, усталые: «Как я и устала». — «Печку сберу, — Мама скажет. — Полежай в печку, попарься».

Полезут, попарятся, и хорошо. Утром встанет «Я и отдохнула, и все у меня прошло даже». А милостыньку нищие продавали. Сбирали куски-то. Насбирает он в корзину. Бывало, Флегон... Он к нам придет в калошах, рубашка ластиковая и часы: «Дяденька Николай!» — «О, Флегушка пришел!» — «Пришел, пришел. Возьмешь куски?» — «Да возьму. Ваганко уж ждет». Это лошадь у нас.

«Тридцать копеек корзина». Ну, копейка фунт был. Милостынька... Выкладывает все, садится чай пить. «Мне покрепче». Чаек любил. А вина не пил, нет. А чаек уж пьет он... А то еще Пашакороль был. Это — блаженный. Этого все уважали. Он такой был — ради Бога. Он меня любил, и я его без ума любила. Идет: «Сашенько-о!» А я ползаю. Я с повита упала и долго потом ходить не могла, все ползла. Скажет: «Милая моя. Все ползаешь? Поди-ка и жопенку занозила?» Этот полезет в печку париться, да и меня парит. Выпарит, эдакую связку кренделей принесет, на меня наденет. Как бусы. Много у нас ночевали, ходили. Потом какой-то Алексаша ходил.

Этот еще много предсказывал. Тятя всю жизнь сказал. До капли... Идет: «Ну, Миколушка, — он так Тятю звал, — я пришел». — «Вот и хорошо, что пришел. Раздевайся». У нас Тятя вообще бедных жалел. У нас рядом сироты жили — три брата да сестра. Придут к нам. А тут же дядя родной богатый жил. К нему никогда не ходили, к нам придут: «Дядя Миколай, дай мерочку овса». Тятя скажет: «А чего ты с мерой-то будешь делать?» — «Да хоть полоску посеять». — «Нечего тут с мерой делать. Голован, пойди насыпь им из большого засека, это семенной-то».

Насыплем им мешок. А осенью придет который-нибудь помочь нам молотить рожь. А то еще дедушка Алексей с бабушкой Катериной у нас на задах жили. Это пастух был. Он женился в нашей деревне. И брат у бабушки богатый был — Мохов. У нас только у четверых столько земли было.

Потому что одиночки. Землю-то делили на каждого брата. А у нас — одиночки. И вот дедушка Алексей взял евонную сестру Катерину. А ведь раньше болезнь катарак не признавали. А у нее катарак, и на оба глаза. Она чуть-чуть вот только солнышко видела. Слепла. У нее двое деток — обедняли. Он стал пасти. Земли нет, а надо ему поставить келью, домик. А раньше землей-то как дорожили! Чтобы лишнюю охалку сена-то не потерять... Гребнев пустил его пожить. Эту келью поставили ему. Дедушка Иван Гребнев. А потом: «Нет. Вот ходит тропа... И на тропе никакая трава не растет. Да и келья. Нет. Убирай келью!»

Тятя приходит со сходу: «Мать, дедушку Алексея дедушка Иван прогоняет. Куда его? Не пустить ли к нам?» — «А вот у нас огород-то... Вот тут отгородим. Вот и ходят пускай... Да и грядки пускай тут вскопает». Тятя пошел: «Давай к нам в огород». — «Ой!» — в ноги повалился. — «Не надо, не надо».

Тут поставили евонную келью, отгородили ему. Канаву Тятя прокопал, чтоб вода стекала. У нас они и жили до конца. И он все пас, он всю жизнь пас. Как слепла бабушка Катерина, он все пас. А сыновья по работникам. Степанушко у нас жил три года, пока мы с Галинкой маленькие были.

Он непохоже, что у нас и работник был. Он начнет командовать. Нам достанется, еще и набьет.

Ему Тятя так и наказывал, как куда пойдет: «Ты, Степанушко, им не давай воли».

Он и командует. Он шестнадцати годов к нам пришел и жил до самого призыва. А уходить — так ревел. Последнюю зиму ревел. Тятя говорит: «Ну, Степанушко, теперь у нас уж девки подросли, справимся». Сидит да ревет. Тятя говорит «Ну, что сделать, уж коль так?»

Оставайся, живи уж.

Что с тобой сделаешь?» — «А я, — говорит, — Ваганко-то, лошадь, люблю больно». — «Ну и живи». Еще зиму и жил. А Парменушко, другой брат, гармонист был хороший. Гармонь он на кружевах выплел. Купил себе, кружева плел... Да, Парменушко и Степанушко...

Обоих их убили в первую войну. Так уж в войну все это и началось. Помню, пришел к нам Алексей Гусев, он еще нам по родне. А тут газета, в ней написано — явление Божией матери на войне.

Николая Николаевича портрет. Тятя читает. «Видно, — говорит, — есть еще и благоразумные воины». А Гусев выхватил газету у Тяти из рук, да и изорвал всю. «Это все вранье!» — кричит. Тятя схватил полено да и за ним. «Тятя, Тятя, ты что же?» — «А почто он газету схватил да изорвал?» Ой, ужас... А уж в семнадцатом году началось. Назаписывались в партию, кричат: «Все поровняем!» Из себя воображали невесть чего:

Бога нет, царя не надо,

Мы на кочке проживем!

Напьются пьяные и поют. И тут приехали из города трое — два мужчины и наша же учительница Апполинария Яковлевна. Приказ: выносить икону из школы, безо всяких яких!

Большая была икона Александра Невского. Но уж ее выносили с молебном, после обедни. А учительнице Апполинару не нравилось, что с молебном. Молебен отслужили в церкви и пошли за иконой. Еще отец Протоиерей был жив — он ста трех годов умер... Ой, как все ревели! Кричали! Стыдили эту Апполинару: «Ты что делаешь-то?» А она одно: «Приказ. Везде вытащим! Не будет икон нигде!» Ох, как она резала! Ужас! Так это все было дивно.

Женщина и так... Она у нас не учила, она в Василеве учила... Что и делала!.. А тут кричат «Не пустим теперь детей в школу!» Так все плакали, как икону выносили, все плакали. А больше всех кричали три Николая — Тятя, Николай Панков и Юров Николай. А ночью их всех и увезли. А тогда всех расстреливали, вот и думали, что их теперь расстреляют. А через неделю их отпустили, только каждый день на допрос гоняли. И приходит к нам дедушка Иван и говорит «Колюшка, поедем».

— «Куда?» — «В Мытниково». — «Почто?» — «Сегодня продажа будет. Знаешь, какая мебель будет продаваться — красного дерева Поедем!» — «Нет, — Тятя говорит, — не поеду. Не надо мне. Сегодня поедете покупать, а завтра у вас все отберут». — «Что ты?! Что ты?! Они там господа, а мы-то что? Мы рабочие люди. Да разве это мыслимо?» А полгода не прошло, у него все отобрали. А то: «Они бары, нечего их жалеть». А тут приехали латыши хлеб отбирать.

Целый отряд. Рукава-то засученные, руки-то голые. Ужас! Такая страсть была.

Наши-то перепугались. «Турки, — кричат, — турки приехали! Будут всех стрелять!» Все побежали... Чего мы понимали тогда? У них и морды-то не эдакие совсем. И расстреляли они жительницу, священника дочку. Она из Грамотина. У них три дочки было, сын один — Петро Михайлович, Мария Михайловна, Екатерина Михайловна и вот эта — Александра Михайловна. Она — самая младшая. Отец у них уже помер, брат там служил — отец Петр. Фамилия им — Студицкие... И он от священства тут отказался. Там в Грамотине два священника служили, Архангельский и Студицкий. А Архангельский, отец Иван, он не отказался. Ну, уж он старый священник был... А Александра Михайловна, учительница-то, только всего и сказала: «Надо молебен отслужить, Бог нам и поможет. Может, уедут латыши». Только и сказала. И тут же они ее и забрали. Увезли с самого разу. Потом на второй день отпустили. Только она домой дошла, опять являются. Опять увезли. Она говорит «Дайте мне только переодеться». Только и сказала. Надевает белое платье.

Пошла. «Ну, простите, — говорит, — все». Поклонилась всем. И повел ее латыш. Как сейчас его вижу — харя широкая, долгоносый. Брал ее замуж. «Все, — говорит, — простим. Поди за меня замуж». — «Нет, — говорит, — стреляйте... Только не в лицо стреляйте». Много их тогда, двенадцать человек расстреляли. В один день. Это только в Колодине. И всех в одну могилу. И увезли латыши у нас весь хлеб до капли. Лошадь Ваганко у нас взяли. Корову белую взяли. И быка. Быка-то Тяте больно жалко было, кудреватый весь, не этой породы. Тятя пошел покупать лошадь — без лошади нельзя. Хорошую опять купил, не любил он плохих лошадей. В деревне Хреново. Там купил. Говорят: «Дяденька Николай привел лошадь хорошую. Четырех годов». И эту увели. Пришли, все опять описали до капли. Ну, за эту деньги выдали. Ваганко бесплатно взяли, а за эту деньги выдали. И в тот год на Троицу я в

монастырь ушла, я на Троицу там осталась. А на четвертый день Троицы приехали к нашим да нашли пять мешков хлеба убранного. За это уж всё отобрали. Квашенка растворена, а замесить нечего. Не оставили. Тятя тут же поехал в Вятку за хлебом. Ведь семья. Два мешка привез из Вятки. Туда ездили за хлебом, в Вятке было хлеба много. А последний раз я Тятю видела Великим Постом.

Они с Мамой ко мне в монастырь приезжали. А он как приедет, первым делом к Манечке юродивой идет. А она у нас всем все предсказывала. И Тятю любила. И вот приехали они с Мамой.

Манечка его на лавку уседила: «Хороший, дяденька Николай, ты хороший». Он: «Я опять к вам скоро приеду, все буду ездить, пока живу». — «Нет, не приедешь, — говорит, — больше». Маме говорит: «А ты его спеленай». Тятя говорит: «Я вот только посеюсь и опять приеду». — «Нет, — говорит, — не приедешь. Больше ты не приедешь к нам»... И получилась у него скоротечная чахотка, в две недели свернула его. И тут прихожу я в церковь — она плачет, подходит ко мне. Я говорю: «Что ты, Манечка, плачешь?» — «Как же мне не плакать, у меня Тятя помер». Я говорю: «Ну, так уж и время». — «Да нет, — говорит, — не время. Ему бы еще надо жить». И заплакала.

А я: «Да уж не расстраивайся». — «Как же не расстраиваться-то. Ведь он еще молод. Семья...» (А у Мамы четверо осталось.) А потом я через два дня прихожу в церковь, аккурат его в этот день хоронили, Манечка подает мне просворку. «Запиши в помянник, сегодня похоронили». И опять заревела. Это уж я потом все поняла. Мне и письмо пришло, да мне матушка Игуменья не отдали. «Не надо, — говорит, — ей сказывать это». Потом еще письмо пришло, и это не подали. Третье письмо уж мне подали. А он ведь меня ждал, послал за мною. И перед самой-то смертью я ему привиделась. Тут пришла к нему Агния, из нашего монастыря монашина, он ее увидел: «Ой, милая моя, ты и пришла». — «Тятя, — говорят, — ты чего?» — «Да вы разве не видите? Санька пришла». А я ему послала просворок. «Матушка ты моя, как я тебя жду-то... И просворочку мне принесла». А сестра Лидушка, ей два года было, подошла к нему, да и тянет просвору: «Это крестная мне послала». — «Нет, — он говорит, — это мне». Вот и все, и больше не сказал ни слова. Как Тятю схоронили, так у Мамы еще корова была, лошадь...

Потом лошадь взяли. У Тяти лес был, роща. Большая она была. Недалеко от деревни.

Бывало, дрова пойдем пилить, Тятя скажет: «Тут не валите! Повалится на дерево, так сделает царапину. Этот лес у меня на пятистенок». У нас двор был новый, а дом-то старый, вот он и хотел новый пятистенок ставить. Вот и поставил... Уж его в живых не было, поехали рубить нашу рощу. А Костя Евгеньев: «Погодите! Стойте! Стойте!» Вперед поехал. Подъезжает к нашему дому, остановил лошадей всех. Слезает, под окошко топором стучает: «Тетка Пелагея!»

Она говорит: «Чего, батюшка?» — «Ведь вашу рощу поехали рубить». Она говорит: «Нашей рощи теперь нет. Все ваше. Поезжайте, с Богом». А потом у наших корову забрали, да и Маму увезли.

Ну, тут вся деревня стала хлопотать. Четверо деток осталось. Галина, старшая, шестнадцати лет. Тут корову отдали, да и Маму отпустили. Две недели всего она просидела. Только из своего дома выгнали.

В сторожку четыре семьи поставили жить. Сторожка-то длинная. Еще и издевались: «Тетка Пелагея, мы тебя все-таки уважаем. Вот тебя к окошку. Жить-то». — «Мне, — говорит, — везде хорошо. Слава Богу. Спасибо». А я дома не бывала целых пять годов. Все из монастыря не отпускали. А тут приехала, пошла поглядеть на место наше. Двор стоит. Дом увезли, уж не знаю куда. А двор у нас новый был — окошки большие прорубили. Тут колхоз

коров наставил.

Восемь коров тут стояло. И ничего нашего нет. Только смотрю, кукла наша деревянная — дядя Алексей сделал — Агаша Ломоносая на земле валяется.

Я подняла ее, да и говорю: «Тебя-то, милая, никто не взял. Никому ты не понадобилась. Потому что ломоносая». И вспомнилось мне, как, бывало, собирается Тятя зимой в лес по дрова. Отрежет большой кусок хлеба, посолит.

Завернет в бумагу, положит за пазуху. «Это, — скажет, — я лисичке от вас передам. А она вам своего хлебца пришлет». Вот приедет из лесу домой, мы к нему: «Тятя, Тятя, привез?» — «Привез, привез. Лисичка вам хлебца послала. Больно уж хорош у нее хлебец». И делит нам кусок на всех. Мы едим: «Ой, какой у лисички хлеб хороший. Тебе, Мама, так не испечь». — «Ну, — Мама скажет, — у лисички и печка-то не эдакая...»

декабрь, 1985 г.